

альманах

АКЦЕНТ

Марианна Гейде

Аркадий Драгомощенко

Дина Иванова

Кирилл Корчагин

Денис Ларионов

Сергей Луговик

Эдуард Лукоянов

Александр Мурашов

Сергей Соколовский

Ирина Шостаковская

альманах

АКЦЕНТ

Москва
2011

ББК 84
А14

Редакция

Кирилл Корчагин
Александр Мурашов

Иллюстрации

Дина Иванова
Татьяна Строгова

Верстка

Татьяна Сосенкова

Акцент: альманах. — Москва, 2011. — 144 с.

© Авторы, 2011

СОДЕРЖАНИЕ

Правила акцентуации	5
<i>Сергей Луговик. Стихотворения</i>	14
<i>Александр Мурашов. Возлюбленная моя война</i>	24
<i>Кирилл Корчагин. Стихотворения</i>	34
<i>Сергей Соколовский. Как я оказался из Калязина</i>	42
<i>Александр Мурашов. Идолок</i>	53
<i>Александр Мурашов. Бедные преступники</i>	68
<i>Марианна Гейде. Стихотворения</i>	86
<i>Аркадий Драгомощенко. Париж стоит мухи</i>	96
<i>Дина Иванова. Стихотворения</i>	101
<i>Марианна Гейде. Короткая проза</i>	107
<i>Эдуард Лукоянов. Стихотворения</i>	116
<i>Денис Ларионов. Краткое описание</i>	123
<i>Ирина Шостаковская. Стихотворения</i>	135

ПРАВИЛА АКЦЕНТУАЦИИ

В текущей словесности представлено несколько изданий с разными идеологическими и эстетическими программами, и к новому изданию всегда возникает один и тот же вопрос — что же такого особенного могут предложить его составители? Так, московский альманах «Абзац» и петербургский «Транслит» могут быть привлечены для сравнения хотя бы потому, что с обоими нас роднит ритмическая инерция и пристрастие к иноязычной лексике. Наполнение, однако, оказывается различным: в основу первого издания положен, скорее, поколенческий признак, соединенный с неозвучиваемой, но, тем не менее, легко уследимой эстетической программой, второе же делает ставку на политическую ориентацию автора (или даже на его классовое самосознание), привлекая не только художественный, но и теоретический материал. При этом авторы из обеих этих сфер вполне могут встретиться на страницах журнала «Воздух», аккумулирующего самые разнообразные направления текущей поэзии.

Но и наши авторы не лишены этого греха. Так в чем же отличие? Среди прочего в том, что мы стремимся к сужению охватываемого литературного пространства, а вовсе не к расширению, в той или иной степени характерному для перечисленных проектов. Другими словами,

сфера наших интересов не расширяется за счет охвата всё более и более отдаленной периферии (как у Дмитрия Кузьмина), а, наоборот, стремится замкнуться внутри узкой области — и это принципиально. Прежде всего потому, что в наши планы входит выяснить достаточно локальный участок текущей словесности — естественным образом наиболее нам интересный. Поэтому альманах не составлялся куратором, тщательно стратифицирующим текущую литературу «извне», а формировался в ходе коллективных обсуждений, направленных на обсуждение поэтик, отклоняющихся от крайне индивидуализированного (что не значит индивидуального) поэтического высказывания и стремящегося если не уйти от мира предметов, то хотя бы прозреть в нем образ чего-то большего. В нашем контексте такаяteleология оказывается связана с отказом от линейной нарративности и субъективизированного письма («дневникового» типа). Для такого преобразования (текстовой) реальности естественно требуется особый язык (или их множество), преобразование системы субъектно-объектных отношений внутри текста и т.д. И хотя язык нельзя создать произвольно, но в (пара?)конвенциональной языковой реализации можно *акцентировать** нечто.

Конечно, эти устремления можно рассматривать в историческом ключе. Так, можно приписать нам поворот обратно к метареализму восьмидесятых, однако нельзя не заметить, что это движение, несмотря на определенное позитивное влияние на отечественную словесность, отличалось ничуть не меньшей глухотой к мировому поэтическому слову, чем прочие порождения поздней (анти) советской системы. Ни эссеистическое наследие Парщикова, запечатлевшее восторг перед внезапно открывшимися горизонтами мирового art'a, ни попытка взаимодействия с поэтами американской языковой школы

* Акцент от лат. *accent-* (*ad-cantus*) — напев, модуляция пения.

посредством переводов из Чарльза Бернстина (почему-то переименованного в закадычного Бернштейна) не изменили поэтику самих метареалистов, по-прежнему устремленных в сторону довоенного русского модернизма.

Таким образом, ближе нашим авторам оказались отдельные представители петербургского круга, имевшие более плотные контакты с западной традицией и более явно взаимодействовавшие с ней не только на уровне биографий, но и на уровне непосредственно поэтик. Поэтому для многих авторов нашего альманаха в качестве одной из стержневых фигур можно назвать Аркадия Драгомощенко, чей «метажанровый» текст (стихотворение + эссе) помещен в самый центр нашей конструкции так, чтобы нити от него расходились в разные стороны (и пусть каждый сам восстановит пропущенные звенья). Исходя из этого текста, мы (через несколько промежуточных зон) приближаемся к тому спектру поэтик, который и находится в центре нашего внимания. Так, среди авторов «среднего» поколения мы представляем тексты Марианны Гейде, Ирины Шостаковской, Сергея Соколовского и Александра Мурашова. В то время как за (относительно) «младшее» отвечают Сергей Луговик, Дина Иванова, Эдуард Лукоянов, Кирилл Корчагин и Денис Ларионов.

Попытаемся выделить те черты, которые кажутся нам «диагностичными» не только для этих поэтов и прозаиков, но и вообще для состояния определенной области современной словесности.

Так, мы представляем стихотворения Марианны Гейде, вернувшейся к стихотворному творчеству после нескольких лет молчания. Новые стихотворения Гейде уже почти утратили все признаки регулярного стиха, которые были характерны для «Времени опыления вещей» или «Слизней Гарроты». Их риторическая организация ориентирована на ветхозаветные псалмы, на Пауля Целана, отчасти соприкасающегося с этой традицией. Новые стихотворения Гейде — монументальные архитектурные

структуры, из которых всё более и более изгоняется «лирика» в том понимании, которое придало этому термину Новое время. В то же время Гейде отличает тонкое внимание к Чужому, лики которого разнообразны, а анатомия (или ее неорганический аналог) гармонична, гиперструктуррирована и потому враждебна. При этом Чужое остается Чужим, даже в том случае, когда мы получаем исчерпывающее представление о его организации — за механикой скрыто нечто, порождающее «чужесть», молчаливо агрессивное и неуловимое.

Во многом близок к Гейде такой автор младшего поколения, как Сергей Луговик. Но в отличие от Гейде, он напрямую ориентируется на Целана и его немецкий контекст. Именно немецкая поэзия — от Гёльдерлина через экспрессионизм к группе 47 — представляется Луговику магистральной в общемировом контексте. Кажется, именно через эту призму воспринимается и Мандельштам (впрочем, хорошим проводником тут служит Целан) и Драгомощенко (без влияния которого не обошлась, например, поэма «В ожидании яблока»). Поэтика Луговика подразумевает специфическое восприятие предметного мира: контуры объектов в его стихах нарочито смазаны, пространство туманно и неопределенно, среди цветов преобладают оттенки серого. В то же время чувствуется экзистенциальное напряжение — в некотором смысле перед нами «посткатастрофические» тексты: что-то страшное только-только миновало, оставив после себя руины, сохранившие, впрочем, память о том, чем они были «при жизни». Именно эта память и говорит здесь — через безжизненные тени, через мертвцевов-наблюдателей — через всё то, что должно вот-вот исчезнуть из мира, но еще не готово вполне от него оторваться.

Кирилл Корчагин также не чужд «катастрофического» мирозозерцания. Но в отличие от Луговика в его текстах всегда ощущается лишь предчувствие катастрофы, часто проявленное через описания характерного пейзажа.

жа. При этом тексты часто содержат как бы подспудный диалог с божеством (они вообще «теоцентричны»), но при этом идентификация участников этого диалога крайне затруднена — они как бы «размыты» и «расщеплены», поданы почти исключительно в динамике фиксируемого пейзажа. В том мистическом, пограничном мире, в который превращается пейзаж, этот «теоцентризм» определяется ощущением ветхозаветного архаичного «присутствия», которое самим собою уничтожает все тварное. Для того, чтобы подчеркнуть принципиальную однородность описываемой (катастрофической) действительности, тексты стремятся к своего рода «монотонии» — локальные пики и спады напряжения в них присутствуют, но, в целом, перед нами ровный фон, как бы «объективизирующий» текст.

Стихи Дины Ивановой, оставаясь с точки зрения субъекта высказывания прототипической лирикой, ставят ряд проблем, с которыми работает, скорее, современная антропология, чем поэзия. Сюда относится проблемы женского тела (а субъект этих стихотворений всегда «женского рода»), его границ, влияния одежды на саморепрезентацию, соотношения раздетого / одетого тела, отраженных в культуре и медиареальности. С другой стороны, эти вопросы иллюстрируются «говорящими» фрагментами самой этой реальности — текстами песен, архетипическими сценами, обращающимися непосредственно к реалиям эпической античности, грамматическими парадоксами, как бы демонстрирующими расщепление сознания под софитами мира-вуайериста. При этом на первый взгляд традиционная гендерная роль, занимаемая лирическим субъектом этих текстов, не должна обманывать — меньше всего отношения она имеет к усредненным представлениям о типично «женском», принятым в современном обществе западного типа — наоборот, здесь происходит радикализация этих представлений, которая с усредненностью соотносится весьма слабо.

Принципиально иной случай — Эдуард Лукоянов, стихотворное творчество которого распадается на две половины, ощутимо отличающиеся друг от друга. В первой половине наивное философствование в духе «Торжества земледелия» или «Серой тетради» (и, соответственно, Хлебникова) совмещается с формой, которая с одной стороны крайне расшатана и неустойчива, а с другой, — сохраняет в себе контуры узнаваемой, но исторически маргинальной поэтической традиции. Таковы дериваты гекзаметра в «Космогонии». При ориентации на классику русского авангарда расшатывание формы может быть, своего рода, компенсаторным — правильные гекзаметры слишком подчеркивали бы иронический эффект, в то время, как тексты все же претендуют на некую дозу профетического. Интересно то, как эта «архаизирующая» стратегия взаимодействует с другими стихотворениями Лукоянова, которые в каком-то смысле представляются более современными. В этих стихотворениях преобладают более свободные стихотворные формы, интонация менее нарочита, лирический субъект не сконцентрирован в одной точке, хотя связь с традицией все же присутствует и может ощущаться, например, на уровне графического построения текста (как в сонетной графике «1571 года»). Конечно, эта связь проникнута иронией, но ирония здесь имеет исключительно «холодную» природу — лишь легкие смещения лексики, некоторая чрезмерность выражаемого заставляет видеть здесь иронический бэкраунд.

С похожей традицией соотносится и Ирина Шостаковская, новые стихи которой довольно сильно отличаются от уже известных читателю. Во-первых, форма здесь все-таки не выдержала напора описываемых событий, свободно связанных в очень широкие ассоциативные ряды. Во-вторых, мир этих стихов в бытовом смысле загадочен (хотя в отличие от мира стихов Гейде — не открыто враждебен): мы видим только более-менее случайные фрагменты, часто эмоционально наполненные,

но аппелирующие к неведомой реальности (выражаясь языком науки, — референция этих текстов неопределенна). В любом случае читатель заметит, что Шостаковская теперь стремится к более пространным лирическим структурам.

Важное место в нашем альманахе занимает прозаический отдел. Представлена здесь и Марианна Гейде, проза которой сложным образом взаимодействует с ее же поэзией. По существу — это единое текстовое пространство. И в малой прозе, и в стихах Марианна Гейде как будто создает бестиарий, своего рода каталог. Но животные в бестиариях — только знаки, и не столько настоящих животных, сколько легенд; бестиарии, в которых отсутствует человек, повествуют о нем, как, например, басни Крылова о волках и овцах. А знак есть нечто, замещающее собой вещь, представление, понятие. Этого-то и не терпит Гейде: она пишет каталог, как Сезанн — яблоки, то есть стремится к тому, чтобы то, о чем она пишет, само присутствовало, насколько это ни невозможно. В бестиариях и каталогах Гейде, лишь косвенно связанных с человеком, даже аллегорические свойства существ и вещей язык заставляет выразиться пластически.

Тексты Александра Мурашова тоже представлены в двух вариантах. Первый — более традиционен: перед нами короткая проза, сохраняющая традиционную композицию и конвенциональную форму развертывания сюжета. Второй вариант — поэму «Возлюбленная моя война» — надо относить к смешанному прозопоэтическому жанру, и наполнение ее шести частей (которые можно рассматривать как стихотворения в прозе или даже как своеобразные «строфы verset'a) — апокалипсические картины, реализующие метафору «жизнь как война». Однако и другая проза Мурашова — «историческая», по видимости следующая за условным историзмом романтиков или «Иосифа и его братьев», на деле служит не конструированию посюсторонней действительности, а раскрытию

Инобытия — через образы древних религий, безумия, галлюцинаций, визионерства.

Если для Марианны Гейде и Александра Мурашова все слова — «ударные», акцентированные, нагруженные экзистенциальным и эстетическим смыслом, то Сергей Соколовский, напротив, предпочитает «разреженные» словесные конструкции. Известно, что классическая гармоническая функциональность литературного языка требует, чтобы весомость слов постепенно нарастала и постепенно спадала. Если у Гейде и Мурашова такая гармоническая функциональность сменяется густотой словесных ударений, то у Соколовского она разрушается — в его монтажных микрокомпозициях ударные слова изгояются из речи, хотя и не до конца.

Проза Дениса Ларионова наследует прозе Соколовского — вернее, его ранним, более пространным вещам, сконцентрированным на описании монотонных последовательностей бытовых действий. Интересно, что как поэт Ларионов пользуется «аллеоторической» техникой, заставляющей вспомнить «Красное смещение» Александра Скидана и практику ряда других поэтов, «вычленяющих» из чужих текстов более-менее случайные фрагменты, порождающие благодаря взаимному соположению принципиально иной смысл. Эта техника по понятным причинам формального характера предполагает «нечеткого» субъекта, в то время как проза Ларионова — гиперсубъективизирована. Интересно, что один автор может совмещать эти две полярные стратегии, реализуя одну в речи стихотворной, а другую — в прозаической.

Конечно, приведенные очерки поэтик могут показаться избыточными. Однако их включение в этот манифестарный по существу текст представляется нам принципиальным, т.к. любое литературное (и не только) явление требует определенного контекста. Более того, именно поиск подходящего контекста — одна из основ-

ных проблем, стоящих перед читателем. Поэтому важным оказывается задание базового уровня рефлексии, служащего точкой отчета в дальнейших разговорах, как о самом альманахе, так и об авторах, в нем представленных.

Редакция

Сергей Луговик

В ОЖИДАНИИ ЯБЛОКА

1

наши с тобой мертвецы курят в пижамах,
на полосатых матрасах, словно больничные ветлы
мы осторожно читаем книгу, город,
в реберной клетке зияет птица
желтый фонарный август, дождь,
человек на кухне вмерзает в воздух
В черном трамвае уснул последний виденный нами житель,
созвездие пса над лужей, здесь
ты поднимаешь с колен красивые руки
ты вспоминаешь свет в слуховом окне,
я записываю в дневник новую букву.
Смотри.

2

Это город глотает пыль,
движется свет многорукий в доме напротив,

мы идем зеленые, словно солдаты,
слушаем ход в коридорах вещей
в деревьях и трубах плутает разбитая вдребезги ночь,
сторожа поднимают ладони,
поют песню для одних только крыс на крысьем санскрите
это город взлетает, поют, это ветхий
похожий на ворона или черного с крыльями пса
каменный гость, словно долгое одиночество,
взлетает, взлетает, уже летит!
мы пропоем до конца и уложимся спать
в серые ямы у длинных дорог
сторожа заколоченных окон,
невзрачных и хрупких, словно наши ладони,
сторожа тлеющих книг
мы будем стоять для вас, беспокойные канатоходцы,
идущие тихой тропой
вдаль уходящего коридора вещей

3

Незнакомец с тихим лицом видит пробуждение города,
в сером сюртуке наблюдает азбуку клумбы,
слушает вальс поливальных машин
он скоро исчезнет, мелькнув в рассохшейся раме,
растает в отверстии белого света,
мы нальем себе чай,
мы будем похожи на медленных призраков пыли,
на странных зверей с блуждающими улыбками,
мы нальем себе чай,
спотыкаясь о тени друг друга
он пройдет по железным мостам,
застанет еще перекличку архангелов в черных кустах,
жирных помоечных птиц глотающих ветер,
он пройдет мимо автобусов, дворников,
увидит их,
словно царь

в круглых очках, с тихим лицом,
скроется в восходящем потоке света
мы увидим его отраженье, мы будем пить чай,
ты назовешь меня, произнесешь,
скажешь, здесь проходил незнакомец с тихим лицом
он исчез в световых волокнах, увидев город,
мы пойдем вслед за ним

4

Видели пустырь, необычайное зияние травы —
тогда, цветок, открываясь,
переходил в свою прозрачную схему.
Мы смеркались, и сумерки были сложение нам,
остановка пять минут назад,
времени уже нет
(белый огонь невидим,
черный недвижим,
назовем это разворот)

Ты пела, песня была восхождением, ты пела, и трава
несла на себе разрушение света,
ты пела, и пение было тем, что двигалось,
в жидких сумерках трепыхались световые флаги,
кажется,
окна

5

Мы говорили,
многоэтажные здания звезд рассыпались,
падая вниз или
вниз
где-то у остановок, на ярких столбах,

Мы говорили на ярусах очернелой октябрьской ночи,
видели
вход в вертикали стеклянной воды,
произнося
громоздкие рыбы окраин слов, такие,
о которых можно подумать:

обочина знака, или
фонари золотого свечения,
источники неотвратимого света.

Так говорили,
листая стерильные пустоши книг,
наблюдая огненные рассветы книг

Видя одно и то же

или одно и то же.

Так шла и шла в одеждах из пыли,
очередная

вечность.

6

Как медленно нас казнят, как медленно
произнесенное рубит нас на куски —
мельницы в небо с откинутыми полами тяжелых пальто,
с, должно быть,

последними лицами вверх,
возденем руки,
будем смотреть в окно
пока движется моровой ветер с востока,
пока

моровой свет съедает город за городом.

Смотри! Это огненный серафим в коридоре ждет,
вспоминая —
о долгой дороге,
недвижимой воде, умирании отражения,
о признаках небытия — сереющих досках заборов,
тревожной архитектуре промышленной зоны,
о ее черноте, о ее забытых вещах
о тайне в бетонных колодцах, о том, как смотрела трава,
когда в небо
входила тяжелая сторона
 ночи.

7

Строили дом на окраине августа,
руина солнца плыла, звездная немочь,
всё восходило, чтобы быть скошенным,
всё наливалось тяжелым цветеньем,
хромые дожди, лестницы золотых насекомых звенели,
мы обходили дозором старые башни зарниц,
чаши движения полнились,

всё начиналось в этом горящем могильнике звезд,
на пепелищах значений всё
обратало форму —
мы строили дом, воздвигали камень,
останавливаясь,
видели жнецов, плывущих в железных ладьях,
как поворачивается ледяная змея
в сияющем ожидании
яблока.

ЭЛЕГИИ ДЛЯ РАЗНЫХ ГОРОДОВ

Питерские элегии

•

Все смешалось в дожде: сквозь мокрые звезды виденный
город, ангелов трепетанье — каменная весна,
желчь непроглядная.

Все смешалось в глазу проходящего — чудо ли,
время ли
вершит себя,
может, иное.

Металлической ласточки скрежет,
ночной звонок,
вечный строитель Дедал молот отъял от земли,
для размаха плечо распрямляя —

скоро уж лето.

•

Стебель и ночь — что еще остается,
ветром гонимое. Камень — и тот иссякает, влекомый
за сором вослед,
временем, пылью.

Все рожденное плачет —
я читал так в стоячей реке, в лёте птиц над мостом.
Забитое в речь, двоится на то, что мы видим,
и то, что мы можем сказать:
пассажир, стеклянный пузырь,
щебетание птицы.
Все рожденное плачет,
исчезает, влекомое ветром.

Остальное — попробуй, същи!
Может, в зарослях сада чужого,
в древнем вине,
под небом,
где переходят пустыню
камни господни.

ДВА МАЙСКИХ СТИХОТВОРЕНИЯ

1.

Наблюдай, думай, камень к ногам брось,
пестрит ручей,
в рост и цвет сочиненную ветвь-кость,
майскую книгу завязей и лучей
изучи, ласковый книгочей.
Черное, словно персть, скинь с плеч пальто,
кто будет с тобой идти?
Свет, ветер, — кто бы то
ни было, разговорчивый посети-
тель вселенной, и может, какой бог,
первовидитель
(Аристо-),
или и вовсе знак, всполох, переполох,
ночное ничто.
Цепкая молния, кто ли еще иной.
Месяц ли, сам на сам делаемый луной,
Сад земной?

2.

Горький чай, листьев древние письмена —
Будто бы ночь горька —
в гаванях ветхости: книжные корешки,
пыли легкие семена,

глиняные горшки —
ни дырки, ни уголка, кругом жительствует весна.

Всё в ночь плывет — скелеты стрекоз,
слепая трава плывет, многоэтажный дом,
электрический свет, цветущий откос
оврага печального за кустом.

Всё в эту ночь — пустота, звенящее небытьё,
книга пустует, банка с водой, башенный кран,
сердце моё,
цветущий овраг, стакан.

Всё — молния в пустоте, цветение, май,
в воздух легкие крылья свои кидай.

* * *

Кому-то с мертвым в ночь стоять
и видеть, что течет
явь и река под тяжким мостом
и черный грозит дом.

Кому-кому,
у кого во рту
земля, горечь звезд
тому вставать во тьму поутру
и вспоминать, как шагал по мосту
и видеть, как поезд идет.

Тому, поднимаясь, видеть, как
из крана течет вода,
сквозь пальцы течет и свет в руках
течет, течет навсегда.

Все больше и больше земли и звезд,
ярче и тверже свет,
а поезд идет и вода течет
из недалеких мест.

А нам, поднимаясь, жить в земле,
на огненном корабле,
и явь и мост и вода и смерть,
и съесть во тьме счастливый билет,
и сесть во тьме и смотреть на свет,
на поезд, несущий всех.

ХРОНИКИ ЭТИХ МЕСТ

(—)

Словно забытые, ходят звезды, тяжелые, твердого света
под ними песчаный дом,
сидит астроном,
он мертвый и наблюдает
шевелятся каркасы свечений,
ничего не осталось.

Карты сияний пересыпаны пеплом с землей,
в тиглях играют слепые светила, алхимический блеск.
Астроном наблюдает землю, держит в руках,
дом его опустел.

(—)

Словно смертные зори бьются об эти места,
птицы черны, соль у колодца,

ветер ходит в домах, словно маятник,
ждет продолжения разговора,

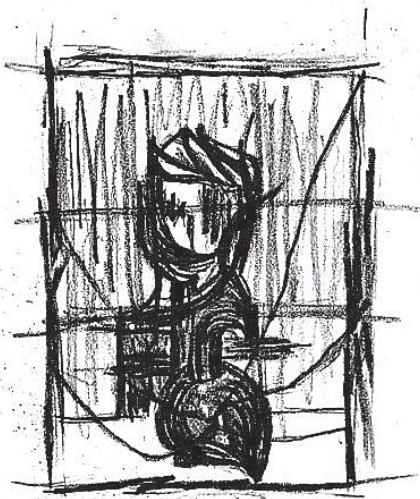
он знает этот язык.

(—)

Свет пустует над речью,
хлынет звезда,
обернувшись к пустым берегам.

Ты находишь слова —
вещи поют себя,
погребенные светом.

Пока нас заносит пылью,
мы поем над вещами,
опустошенные,
перекрестки.



Александр Мурашов

ВОЗЛЮБЛЕННАЯ МОЯ, ВОЙНА

1.

На сиреневых снегах, за верстами и верстами колючей проволоки, нежно звенящей на ветру, темно и рыжевато ржавеют искореженные туши танков, вечные обители раздробленных скелетов, проникнутые морозом, одни напротив других, почти соприкасаясь жерлами орудий. О них и об этой земле забыли погребенные в пышных семейных склепах канцлеры и министры рухнувших государств, и никто не обитает тут, лишь те, кто лучше бы хоть как-нибудь да выглядел, но не выглядит никак. И война продолжается. Скелеты пробуют шевельнуть скрюченными пальцами. Их приводят в движение страхи.

Небо никогда не проясняется, тучи, то бледные и высокие, то мокрые и низкие, сыплют снегом, а потом бывает ростепель, ручейки текут по ниже на взлохмаченной гусеницами и снарядными разрывами дороге, и поиздергавшиеся, спесиво-застенчивые потомки императоров и королей рухнувших государств согревают остывающие

кости династий на солнце средиземноморских и южноамериканских пляжей, а в танки просачивается сквозь изъеденную броню дождевая вода, но потом она замерзает, сковывая ноги скелетам. И на ходу истлевают кости в нас, как бы в естественном аду на кладбище, и нам не страшно, а тем, оголенным ребрам и черепам, им хочется приподняться, как будто затекли отсутствующие мышцы, чтобы прицелиться и выстрелить, убить и не быть убитым.

Звон колючей проволоки подобен зудению тонкого хрустального бокала, по кромке которого проводят круги влажным пальцем. И сами скелеты словно хрустальные. Но они надломились бы на манер сухого стебля, если бы им удалось пошевелиться. Рассыпались бы прахом и снегом среди снегов. Тысячи танков, на расстоянии двадцати шагов один от другого, некоторые — чуть впереди, другие — подотстали, и перед ними такая же на километры растянутая цепь из темных мумифицировавшихся жуков.

На костях выступает смола, которая оцепеневает в янтарь, и жук мумифицируется в янтаре. Смола выступает, потому что ветер свистит сквозь полую внутренность кости и гудит по ней. И страшный жар гибнущей машины потрескивает в ней на морозе, как потрескивает футляр давно остановившихся часов. Но кости остывают, схваченные невидимым льдом, микроскопическими скрепами льда, как бы обмороженные пальцы, в нас на ходу истлевают кости, и мы не замечаем этого, мы сидим в кафе, переговариваемся, как будто не натянута колючая проволока, не погребены под звуки оркестра канцлеры и министры, не обвалились империи, не эмигрировали августейшие семьи, мы переговариваемся за чашкой и за тирамису, расстегивая воротник от не понятного прилива духоты, весенней духоты шумного, мирного города.

2.

Влажная грязь, в которой с чавканьем увязает нога, облекаясь наивной калошой, черна от нефти, разлитой здесь, по плоскому берегу пасмурного моря. Идешь и идешь, едва переступая, но море словно с каждою отхлынувшей волной отползает, так случается всегда при замедленном приближении, например — во сне. А месиво никуда не девается, оно уже засосало несколько лошадей, их черепа грустно выглядывают пустою глазною дырой, и, сколько не знаю, людей, говорят: пропали, нефть взяла. Как будто захотела — и взяла. И несколько городов, прежде расстилавшихся от алычевых, абрикосовых и тутовых садов по низу горного склона веером улиц, на которых охряно серели одинаковые многоэтажки, до порта, до набережной, с прогулочными шелковыми зонтиками, до террас отелей, — нефть взяла, засосала с чавканьем.

Кажется, что небо тоже перепачкано темной слизью, пробивающееся солнце ломает лучи, бледные сухие карандаши, о кручи облаков, крапчатые, будто в щербинках зрения или засиженные тараканами, щепки падают сюда, вместе с переливчато-ртутными кусочками грифеля. Но это бывает не часто, чаще солнце виднеется заходящим в малиново-оранжевую жижу, с дымной или сажевой примесью нефти, и странно, что на следующий вечер заходит еще одно солнце, рассвета никто не видел, да и редко здесь появляется кто-то, ходить тяжело, опасно. Возможно, что последние капли света, предопределенного этому прибрежью, грузно сползают ежевечерне в заглатывающее их нефтяное месиво.

Чтобы воевать, надобна нефть. Но кто же знал, что она разольется, потревоженная, и уже никак не спрятавшись от нее, вспыхнувшей в бензобаке подбитой броневой машины, облизавшей пламенем ее и ее пассажиров изнутри и снаружи, пальцами огня стучавшей, как стучится дождь, и падающей каплями, сочащимися вверх

струистым пламенем, вслед похоронному шествию, идущему за этим гробом — длиною до четырех метров и шириной в половину того, покрытому, поверх kleенки, роскошными кружевами, превращающимися в пену белых цветов, и никто не осмеливался не то, что бы заглянуть под kleенку, отяжелевшую, потому что мокрая с изнанки, но даже подумать о том, что находится под kleенкой.

И если кого-то убивало, прячущегося на дне траншеи, то здесь, покуда идешь и идешь к недоступному морю, невдалеке чавкало и причмокивало, словно после теплого коньяка, а потом булькал и лопался воздушный пузырь или два: нефть взяла. А ты идешь, и нефть черствеет и светлеет, иногда проламывается корка, но вскоре уже надежная, серая, шершавая, обычный асфальт, солнечные зайчики прыгают по набережной, не глядя мечутся в салочки дети, светящиеся от удовольствия кокетки вращают шелковые абажуры зонтиков, цены высоки — и в приморских магазинах, и на гостиничные номера, но зато, если раскошелиться, если сидеть откинувшись в шезлонге на террасе и смотреть в синее полуденное небо, где пробегают два маленькие облачка шерочки с машерочкой, то его лазурь кажется всё гуще, всё темнее и темнее, а море по-прежнему недоступно.

3.

Возлюбленный войны крадется поздним вечером по бесконечному, опустевшему городу. Фрак надорван, манжеты рубашки не чисты, ухмылка поистине подобна цветку, только что брошенному в соляную кислоту. Надо бить стекла. Он подбирает обломок кирпича и выбирает окно. Отводит приподнятую руку назад, и тысячи артиллерийских орудий, за тысячи километров отсюда, заряженные, наведенные, ожидают взмаха офицерской саблей. Шинельные души артиллеристов исцарапаны, изодраны рыболовными крючками тревоги и жуткого сладострастья,

будто бы к жерлу каждой пушки привязан спиною, с заломленными, как на дыбе руками, пойманный дезертир-анарист.

Но возлюбленный войны не спешит, потому что некуда спешить в городе, всё равно бесконечном. Он шепчет: «О, прекрасная, о, дивная, в отважно декольтированном белом платье, в княжеских бриллиантах на шее, скрывающей рубец от петли, и на тонких пальцах, я знаю, что ты зябко стоишь посреди большой, пустоватой спальни, вытаскивая шпильки из густых рыжевато-каштановых волос, превращающихся в огонь и гаснущих сажей и пеплом, и ни одной морщинки не прибавилось, не поблекла кожа, но это облик тысячелетней старости, не позвала ни горничную, ни чтобы растопили камин. Ты похожа на лунатика, но ты не спишь. Мгновенное разрушенье одними людьми всего, что создавалось другими на протяжение годов, поколением за поколением, — это во мне пробуждает азарт, которого я не изведал ни за одною рулеткой. Мгновенно просаживаются полы, потолки, разносит в дребедень антикварную мебель, серванты с фарфором и хрусталем, завещанные от предков, отцов... Вожделение волнами струится, как ветер по шелковой занавеси, и ты, возлюбленная, сжимаешь костлявые кулаки, чтобы удушить свою неистовую, как раненный вепрь, похоть». Нужно бы схватить ополоумевшего эротомана, лечить галоперидолом, электрошоками, но некому в бесконечном, опустевшем городе.

Дома виднеются за домами, как в кошмаре опиофага или на картине старинного итальянского художника, бесконечно виднеются одни за другими, но до конца опустевшего города без горизонта не добирается взгляд, а был бы помощнее — он увидал бы новые ряды домов: модерновых особняков с большими ассиметричными окнами, старых, готических дворцов без наружных окон совсем, разве одна-другая бойница, доходных домов аляповатой архитектуры, в которой отыщешь и классические маскароны, и

громоздкую лепнину неорококо а ля Наполеон III, и югендштилевые решетки балконов, и город не кончается нигде. Камень тянет руку к земле за спиной Возлюбленного войны, словно заломленную палачом, мысли давят череп, он опасается, что прысни расколотое стекло — и разлетится

костяное вместилище

его великолепного студня-мозга,
царственного моллюска
в известковой раковине.

Сабля начертывает в тусклом воздухе свое «Мене, текел, фарес» — и тела анархистов-дезертиров разносит залпом на красные крупицы, корпускулы, молекулы, а в ответ из пушечных жерл на противоположной линии вырываются такие же снаряды, как с этой стороны, и стекло низко и смачно звякает и сыплет высокими голосами колокольчиков, а ему кажется, что череп расширяется от взрывной волны и охватывает бесконечный город, и она, с почти обнаженной грудью в корсаже, выдыхая стон, проводит пальцами, унизанными бриллиантами, от плеч до межножья, и вся изгибается судорогой от звука раскальвающегося стекла.

4.

Важно переваливающиеся черноголовые вороны клюют ошметки плоти, тащат выдернутые глаза, шелудивые, худые собаки, со свалявшейся от крови шерстью, роются во внутренностях изувеченных мертвцев, летучие мыши прилипают к ранам еще живых, потому что любят горячую кровь, как ящерицы любят пепел, лягушки скачут по влажной красной траве. Миллион поверженных оставлен беломундирными генералами и аксельбантными штабами, оставлен умирать и гнить своими армиями, хитрящими каждая в маневре после битвы, Наполеону приписывают слова, что, мол, такому человеку, как я, наплевать на миллион погибших. Не правда ли, наша постель вы-

глядела подобным образом, после того как мы впервые занялись любовью?

И в готическом замке, двор которого уставлен широкими черными машинами, пожилые люди в безупречных мышовых костюмах,

в матовых бордовых и темно-синих галстуках,
в лоснящихся галстуках цвета лососины и пепла,

оружейные бароны приподнимают муранские или богемские тонкие бокалы с холодным сухим вином оттенка зеленоватого золота, которое разлили юные официанты, нанятые на картинах Караваджо, а мы и не ведаем о них, но возмущенное карканье вспугнутой собакою вороньи, в радиопомехе — хрип пытающегося ползти, обескровленного калеки, какое-то неожиданно ударившее по глазам рдеющее пятно — возможно, безвкусно-яркого галстука за соседним столиком в ресторане, рубин вина, которое наливает смугловатый парень с темными кудрями, — и шорох червей в сереющей мякоти, и наше пристрастие к фильмам о вампирах свидетельствуют, что на поле миллиона трупов продолжается пиршество падальщиков.

Потом мы, понятное дело, расстались. Не скучай, потому что мне-то не проще от того, что и на тебя тоскливо наваливается домовой, когда я курю в постели один. Я, случается, все еще прихожу на поле, заросшее быльем, крапивой, тысячелистниками, полынью, обычно прихожу на закате, ноги ненамеренно то дают пинка черепу или продолговатому куску иссохшей кости, а то сшибают оранжевый мухомор. Меня тревожит легковесность этих полых черепов, но не потому, что они полые. И когда туман заволакивает окрестность, а мне кажется, что я стою в единственном просвете, но, куда бы я ни пошел, единственный просвет будет там; когда на небе еще не выступили звезды, — я окликаю убитых по именам, я боюсь оцарапать ногу о ржавый металл разнесенного взрывом, изъеденного временем танка, и убитые отвечают мне од-

носложно, как будто я генерал этой погибшей армии, но я лишь циничный и лицемерный концессионер военных заказов.

5.

Предательство — скользкий, промозглый мосток над ручьем, ведущий из скопленья обывательских дач обжитых на влажный полунощный луг, принадлежащий умершим поэтам. Если кто-нибудь однажды заговорит об остром, болезненно-зудящем сладострастии предательства, смело считайте заговорившего человеком изощренным, но недалеким, потому что в предательстве ледяная щекотка сладострастья не так прекрасна, как в нем прекрасно величие. Только предательство показывает человека глубоким, остальное не досягает и полуметра от поверхности, о, Возлюбленная!

Предательство — это нежданная усмешка —
мраморных богов
над хрупким сочлененьем
человеческих расчетов.

Представьте, что вдруг улыбнулась статуя.
Всё в человеке, кроме предательства, — подобно волосам Гулливера на кольшках. В полный рост существо разумное и властное поднимается, лишь совершая предательство, о, Возлюбленная!

Предательство — это напудренная женщина, беседующая ровным, чуть ироничным голосом с мужем из-за ширмы будуарной раззолоченной, когда любовник целует ей шею и плечи, поднимает подол и целует под ним, потому что лишь самые слабохарактерные люди способны быть верными друзьями, любовниками, супругами, менее ничтожным особям просто не по силам такое малодушие, они бывают верны отвлеченно: идее, цеху, сословию, отечеству, однако поистине замечательные люди не удостаиваются, и только некоторые из ныне живущих вступили

в страшное одиночество пред звездным небом, о, Возлюбленная!

Предательство — это последний дар Изоры, последнее из действий чувственности, по силе равное лишь тем изысканным мгновениям, когда, увидев один другого, обменявшихся несколькими фразами, мы ощутили, как воздух между нами

постепенно становится чутким пространством,
гулким пространством,

соединяющим нас в новом, прежде не существовавшем времени, которое принадлежит нам двоим, составившим заговор против остальных и остальной Вселенной с безликим ее временем планет, о, Возлюбленная!

6.

Великая армия отступала. На брошенном грузовике с хлебом наивно написали «Отравлено», однако собаки и вороны читать не умели и растащили безвредные буханки. Отставший младший офицер пытался саблей иссечь крыло и корпус забытого боевого самолета без горючего, в тупом бешеном ожесточении, у него аристократическая фамилия и жалобное юное лицо, холеные руки утонченного сибарита.

Среди угольев сожженной деревни стоит нетронутое пламенем пугало в лохмотьях и со штопанной военной фуражкой на конце вертикального шеста. Лишь несколько отверстий прожгли в его лохмотьях искры, они заметны только насекомым, их отличающим, по обгорелым краям, от прочих дыр. Монотонность опустошения под серым, белесым, бесцветным небом кажется сновидческой. А в овраге, средь высокой полыни, лежат изуродованные армейскими костоправами и ланцетами солдаты, умершие во время отступления от ран. Они переговариваются серыми, белесыми, бесцветными голосами, ибо на них не кинули и лопаты земли на каждого, так, посыпали,

словно порошком, или золою, или гримерной мукой, или легкими маленькими, как феи, поддельными золотничками, которымисыпают на Востоке жениха и невесту. На кончиках пальцев перчаток, которыми одеты деревянные культи чучела, — желтая цветочная пыльца.

Никогда не поймут, что в овраге эти трупы, они муляжи, созданные из папье-маше, воска, гипса и прочей дребедени прихотью гениально-кропотливого художника, который одержим тератологическими и садистскими фантазиями; я всегда шарахался от манекенов, если не за стеклом витрины, их безжизненность и одновременно воплощенная угроза движения, их сходство с живыми людьми заставляли меня чувствовать нежданно вторгающееся присутствие каких-то не совсем человеческих существ, которые вдруг сейчас да зашевелятся и пойдут среди нас. Манекены не живут и не бывают мертвыми, манекены, изображающие мертвецов, так же устрашают видимостью жизни тайной и готовой открыться, как и манекены, изображающие живых. В овраге они переговариваются серыми, белесыми, бесцветными голосами, из которых вылетает моль.

С холма полководец, который остановился верхом и развернул коня, оглядывает земли, те, что он приобрел и потерял, но он и не хотел приобрести и удерживать, радость завоевания возвращается в радости уступить, покинуть, утратить. Сквозь линзы бинокля он видит чучело, он и чучело понимают один другого, и пугало смущает его. На кончиках пальцев перчаток, которыми одеты деревянные культи, вращается целый мир предзакатного света, солнце и другие звезды.

Кирилл Корчагин

они снова идут куда-то

покинувший город под грохот картечи
он по белому спускается полотну
с вершины карьера вглубь
земли разверзшейся
навстречу падающему снегу
граду дождю

листья скорбного года на мокрой земле
окостеневшие в утреннем инее
и взрезанных пластов чуть ниже
голая почва

эфир наконец-то пуст воздух почти что чист
узкоколейка ввинчена в склон
изъязвленный ржавчиной
вниз по спирали вниз
двигается что-то по линии оставленного горизонта
катится по земле беззвучно
сходится со всех сторон

шагом медленным
и почувствовать в легких
вознесенную к звездам пыль
нисходя всё глубже и глубже
не видя как демоны мира
черными ядрами вслед
устремляются к центру планеты

зимняя сказка для читателей манги

за одной головой снимают вторую голову
все шинигами этого леса со мною в тесном кругу
наша любовь истлела говорят с одной стороны леса
смерть неизбежна с другой
первый снег — ты говоришь со мной?

сквозь унижение холода

переговариваются жертвы твои
прячется Анна под этим деревом Ольга Екатерина
но живые огни проницают ночь
иглы звезд шьют воздушный саван
и ступни богов выжигают следы на земле

хоровод согласно биенью сердец
движется — только любовь разрывает жилы
вот-вот и повисну у вас на плечах
всю ночь чтобы кружилось тело
а утром легло на пустоты холода
наравне с прочими

медленными траекториями струится снег
сквозь пустые деревья
пронзительны взгляды нечисти
вознесенные над ветвями
и время стремится к рассвету
но рассвета всё нет

* * *

цветущие розы в предгорьях
камни нагретые солнцем
все новости о войне

но столы ломятся от яств
близится празднество
и дочь твоя, Анаид,
под кроной с Ваагном

ветер высушит влажную кожу
на исходе весны
молодое вино покрасневшие губы

и мои друзья
лежащие в долине
успеют в срок

* * *

тени на стене в полуутемной комнате
шепчутся о чем-то друг с другом
пока рука тянется к выключателю
так медленно

птица бьется о прутья клетки
комок воли сдавленный тишиной
мрак не раздвинет свой полог
свет не очнется

эти гомункулусы эти кадавры
их он тоже заберет с собой
туда на двоичное небо
и холода хватит всем

отрешенным от праха
музыка не предъявит себя
отзвучав со звуками
закатившегося солнца

разговор не прервется
и навсегда останутся заметны
выжженные следы
молчаливых визитов

за книгой эдварда сепира

извлеченный из Cornell University
с пометами по-над *language*
is a merely conventional
system of a sound symbol
нетвердой рукой

О заокеанский коллега
force of the sound-imitated words
колеблет пыль в вентиляционных шахтах
ворс твоего пиджака ставший давно
удобрением этого штата
бренные кости праху
что тебе видно в твоей глубине
сквозь сумятицу литер?

изрезанный эллипс заходящего солнца
отпечатывается на кафедре
за витыми решетками
прелью гниющей листвы
голос раскачивается и не находит опоры
в пустых аудиториях парадиза
в объятиях центрального отопления
но коридоры пусты и студенты забыты
в своих молчаливых могилах

соматика

к осени густеет лимфа в своих каналах
вода наполняется холерой и гриппом
жилы твердеют — повернуть голову, взмахнуть рукой —
металлический скрип
сорванных позвонков
на обездевшей дождливой улице
пока струи воды стекают с плеч гипсовых статуй
нависающих над тобой
покосившиеся атланты, бесстыдные карнатиды
под спазматически сдавленным небом

пульс метронома в беззащитных висках
так вот что ты имела в виду когда

та же безлюдная улица залитая дождем

нетвердые лапидарии
среди техногенного мусора
строительных площадок

прислонившийся к шершавой стене
стоящий под ржавой водой

и голос раздвигая перепонки
легче воздуха и водяной пыли
возносится в надломленное небо
раскалывается о мокрый асфальт

маленькая песенка на классический сюжет

может быть отрекаясь от тверди
воспаряя над ней
захваченное петлею воздуха
тело взлетело легко
не опускаясь на землю

роняя ночную песню
скрученному в турбинах ветру
от земли исходящая пыль
и странник ослепший
на горной дороге

сквозь рев двигателей
дремоту вершин
падают стрелы дождя
смещенные к горизонту
и уже ничего не приснится

* * *

ты кричала как помню
пока шершавые деревья проносились
туда в прелое варево воздуха

или нет замкнутая в объятиях
молчала
пока рассвет вымученный поднимался

почти всё равно
песок ли скрипит на зубах пепел
ли укрывает сон

в своих погребальных урнах
музы заключены
в продолжение злой зимы

о северный хронос
согрей нас в утробе
нам холодно здесь

заздравные кубки расколоты
кентавры разъятые среди объедков
с черной пингвиньей кровью

под стук маятника
нет под шуршание
времени сладкая работа

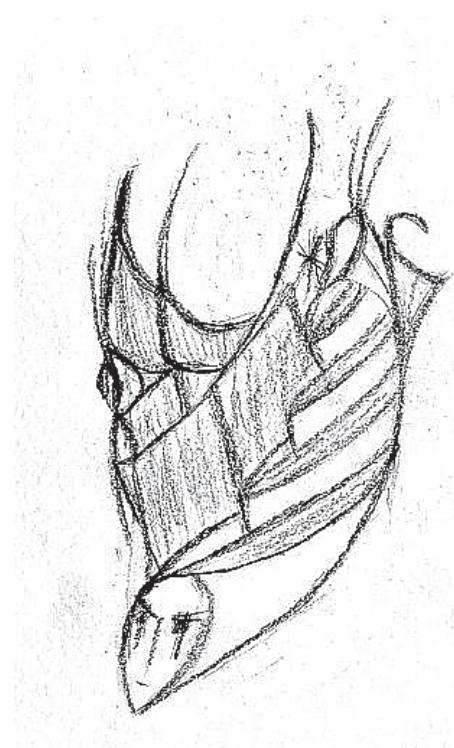
* * *

когда ты подходишь близко
за горло берешь и гнилью
полню дыхание
медленно трудятся сочленения ночи
стучат приборы — доживем ли мы до весны —
о пленительно дыханье твое

ветхие крылья иссечены язвами
но все-таки крылья
а сросшиеся перепонки
а тлен приникающий к тлену
собери же меня из пыли
рассредоточенной в воздухе

на холоде военного солнца
среди шороха госпиталя
смятого внезапным ударом
ликующей артиллерии
воспаряющим духом и телом
среди безымянных могил

соцветия черемши зияют в груди
и лесное межсезонье обволакивает
потерянные души слюдяной оболочкой
россыпи гильз в снегу
вдавленный в почву движется день
сквозь прозрачные нервы деревьев



Сергей Соколовский

КАК Я ОКАЗАЛСЯ ИЗ КАЛЯЗИНА

(Малая проза из циклов «*Shugafrancaphical*», «Заливное из языков Жаворонкова» и других)

ТА САМАЯ ЛЕГКАЯ АНТИБУРЖУАЗНОСТЬ, О КОТОРОЙ МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ

Кроме тебя, все, кого я любил, умерли. С ними теперь как-то проще: мертвые покладистее живых. Мне поэто-му и тебя удобно причислять к их числу; не столько из-за прогнозируемой в таких случаях некрофилии, сколь-ко по причине стремления к элементарному бытовому комфорту. Да, можешь считать это трусостью, это и есть трусость, но компанию я тебе подобрал не из худших, тут уж постарался.

Странно представлять, что ты можешь покинуть меня каким-либо иным образом. Странно — здесь самое подходящее слово.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ ПОСЕЛЕНИЯ

— Холоден или горяч, холоден или горяч?!! — истерично, будто сопля к рукаву прилипла.

— Ты прямо как на плацу, — ну надо ведь человека успокоить. — На первый-второй рассчитайся, что-то вроде того, вот как это со стороны выглядит.

— Со стороны?!! — взвизг, но с некоторой холодцой.

СЕРЬЕЗНЫЕ ЛЮДИ

Эти горячие, судорожные призывы. Три юмористических шага.

Промозглые кредиторы спускаются с пятого этажа. Сосчитать количество их прошлых и будущих прегрешений у вас просто не хватило бы математических способностей. Если бы хватило, буду честен, я навечно прекратил бы заниматься политическими и экономическими прогнозами.

Кредиторы спускаются с пятого этажа. Лифт Шарко мелодично позвякивает вслед их неостановимому движению вниз, которое только крайне ненаблюдательный человек мог бы назвать падением.

Три неосторожных, случайных шага.

ЗАМОРОЖЕННЫЕ ОВОЩИ РОССИИ

Воспринимая русофобию как простое, естественное и общедоступное чувство, трудно понять твоё горячее пристрастие к известной северной стране, если не знать одну небольшую деталь, которая окрашивает предысторию вопроса синим цветом старинных продуктовых витрин и дезинфицируемых больничных палат. Легко представить более или менее свежего человека на этих витринах.

У нас в отделении лежал один такой овощ. У него не было своей койки — он бы и не запомнил ее. Пациенту до-зволялось спать где придется. Поэтому когда ты спроси-ла, не являешься ли, часом, настоящим антихристом, то я сразу вспомнил этого человека. Будем честны: его по-ведение намного больше твоего смахивало на поведение грамотного антихриста, аккуратно расфасованного в по-лиэтиленовые пакеты той или иной массы, реализуемые сперва через оптовые, а после и через розничные торго-вые сети.

Еще раз повторю: это рассказ о русофобии, коррупции и подлинной демократичности, написанный для одного ре-ально существующего человека и нескольких реально суще-ствующих коллег по борьбе. Если с первым всё ясно (в лучшем смысле этого слова), то о борьбе — чуть подробнее. Потому что это — вольная борьба и силовой прием. Почти такой же силовой прием, как и тот, что упоминался одним временным жителем станицы Синегорская около пятнадцати лет назад. Процитируем: «Я силовой прием и я знаю об этом». Здесь, на-верное, следует уточнить, что мы говорим о русофобии в ме-дицинском смысле, в лучшем смысле этого слова.

НЕ СТОИЛО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ (ЧЛЕН ХАРОНА)

Придется выкручиваться, как никогда раньше не выкру-чивался. Но просто без имен, как без манной каши.

Этот, не тот, «смазал карту будня, так тогда вышло». Не он один, и я соглашусь: не он один, верно. Я не буду спорить. С остальным тоже соглашусь: это было на стан-ции «Ботанический сад».

Спустя двадцать лет мы стоим ровно на той же станции «Ботанический Сад». «Zoo», как гласит ядовитая надпись у тебя на спине. У меня в кармане старая двух-копеечная монета.

— Знаешь, почему мы тогда оказались на станции «Zoo»?

Приходится выкручиваться, как никогда раньше. Двадцать лет — это много. Это очень много.

— Это не «Zoo». Это «Ботанический Сад».

— Плохо. Очень плохо.

Поднялись наверх, подошли к таксофону, номер телефона забыт. Я крепко сжимаю в кулаке двухкопеечную монету. Ладонь не спеша потеет.

— Заполним пустоты. Чем угодно, лучше чем-нибудь красным, чем-нибудь марсельезистым. Чтобы было заметно. Чтобы мы потом могли вспомнить.

— «Ботанический сад» — это не место подвига. Это — формула успеха. Ты должен знать.

Постарался навести порядок. Тогда и сейчас. На меня смотрели предметы, смотрели их цвета и названия. На подоконнике стоял кактус. Телефонный аппарат сломан, телефонный номер забыт. От монетки избавился. Изменения внесены.

Огромный механический лев. Зачеркнуто.

ГОРЯЧИЕ ЖИВОТНЫЕ, СЕКС

Меткость никогда не входила в число достоинств. Он промахивался, всегда.

Зато был на короткой ноге с разного рода отчетностью, то есть способностью отчитываться обладал.

Сочетание этих качеств, будь оно для человека основным, центральным, кого захочешь разорвет в клочья. И не будет слишком долго с этим тянуть. Но речь о другой судьбе.

Парня спасла, что называется, низменная сущность. Промахивался, промахивался, но между делом свое ухватить умел. Выглядело не то чтобы очень, но избытка сторонних наблюдателей не наблюдалось, как не наблюда-

лось и того, что обычно именуют барабаном Яна Жижки, барабаном смутного полка.

Кроме барабана, труба. Труба, зовущая к мятежу. Мы считаем, что трубы тоже не было. Раз не было барабана. Однако это не совсем верно. Труба была. Труба наблюдалась.

ПРАВИЛА РАЗДЕЛКИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ТУШИ

Начинал я верстальщиком, в полиграфической области, и прежде чем дошло до дела, успел повидать многое. «Механизм бестселлера» — пожалуйста! Превращение означающего в означаемое — на здоровье!

Поэтому неудивительно, что меня взяли. Настоящих хороших специалистов — по пальцам сосчитать. А я был к тому времени хорошим специалистом.

Дальше просто повезло. Как в анекдоте про лопату. Никакой типографской краски, кроме той, что на фальшивых купюрах. Уже не было, я хочу сказать.

Только люди.

Пришлось многому учиться заново. Так, одно из важнейших правил, которым мне хотелось бы поделиться, — человек должен быть неподвижен. Абсолютно. Полностью. А то получаешься чем-то вроде врача или палача.

Остальные правила оставлю себе. В конце концов, я ведь не собираюсь писать книгу вроде «1000 способов обретения человеческого достоинства» или «Как мы имели коня». Мне уже ни к чему.

СЕМНАДЦАТЬ

Спустя семнадцать лет он говорил:

— Ты же помнишь, прошлым летом в Карловых Варах пирожные из того самого говна, которое я ребенку в концлагерь возил.

— Тебя никто не слышит. Ты никому не нужен. Все твои красоты неинтересны.

Солнце садилось за горизонт, как актеры-неудачники кричат иногда «Банальность! Банальность!» Спустя семнадцать лет он превратился в сломанный речевой автомат, а его собеседница — в кинозвезду.

Подлинный ужас в том, что кое у кого до сих пор есть выбор.

КАК Я ОКАЗАЛСЯ ИЗ КАЛЯЗИНА

Кимры — город мне более знакомый. Туда можно было быстро доехать на электричке до Дубны, а после пересечь реку. Приплыл, выслушал всё, что хотел, и уплыл.

— Достаточно сказать, что, во-первых, не до Дубны, а до Савелово, а во-вторых, плавает не всё. Не всё.

Родом я, если что, из Углича.

В МАРШРУТКЕ (БАЛЛАДА О ЧЕРЕПАХЕ)

Вылезла черепаха и смотрит как-то на удивление выразительно. А тот осел, чью печень я недавно ел, явно умел смотреть куда более выразительно! Он ведь был млекопитающим! Это ли не аргумент в пользу вегетарианства! Куда как весомый! Словно танк. Но человека из обезьяны сделало употребление мяса. Возразят, мол, люди и были озверевшими от голода обезьянами, готовыми от отчаяния пожирать плоть себе подобных.

Вечером они включают кино, во время ужина снова почувствуют эту страсть. Наевшись, выйдут на балкон покурить. И вот тогда небесный снайпер нажмет курок: мне снится, что я не записал какой-то очень важный, очень красивый сон.

Что осталось, когда ты уже выполнил все свои обещания? А гораздо раньше, когда ты мог спрашивать: что могло бы остаться? Что осталось, то осталось, как и всё остальное, что должно было оставаться! А, остановить на остановке? О, остановить на остановке!!!

ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Столкнувшись — будто бы вновь — с некоей старинной инфекцией, волей-неволей приходится прибегать к столь же старинным жанрам. Мемуары, эпиграфы, поддельные рецепты и документы — сыплются сверху подобно старой штукуатурке после случайного взрыва. Это не совсем то, что можно было бы назвать эстетическим завещанием одной парижской американки, но с точки зрения народной медицины я, несомненно, прав.

Другой американец, живший южнее, в североизвестной части африканского континента, называл человеческим вирусом то, что, по правде говоря, в наше время может считаться каким угодно вирусом, не обязательно человеческим. К примеру, марсианским. Величайшие безумцы уже доказали нам свою правоту. (Здесь нужно заметить, что среднестатистический образ безумца стремительно молодеет: живописные лохмотья прекрасной эпохи безвозвратно отступили перед спортивными костюмами в несмыываемых пятнах).

Финальной сцены не будет.

Этот небольшой роман завершится в лаборатории — лабораторным же образом. Главные его герои продолжат свою жизнь в опытах, которым завещали свои тела, души и смутные подозрения. А несколько побочных сюжетных линий, по традиции, предстоит завершить читателям (если, конечно, их антивоенный потенциал будет достаточно самобытен).

ЛУЧШИЕ СТОМАТОЛОГИ ГИПЕРБОРЕИ

— Зубов не сосчитаешь, если хоть пальцем меня тронешь, — говорила она Максиму в минуты, когда тот брался за топор или нож.

Угроза действовала с неизменным эффектом, но механизм воздействия был, мягко говоря, непрозрачен. Максим и сам не всегда помнил, почему при этих словах ему всякий раз представлялись бородатые люди в белых халатах, пристально всматривавшиеся в его до предела открытый рот.

ЩАЧЛО МИХАЛИСА

Из окна потянуло чем-то съестным.

— Значит, не так уж мой народ голодает, — подумал Михалис, пряча в нижний ящик письменного стола горячие пирожки.

Запах был до безобразия аппетитным. Михалис завязал шнурки, застегнул парочку верхних пуговиц для пущей торжественности, причесался, вышел вскоре прочь из своего дома. Щачло Михалиса чуяло беду за сто километров. Вспомним, один популярный душегуб был вегетарианцем, и добавим, наподобие вас всех. Чуяло, да не всегда, как мы знаем из одной популярной греческой песни.

ТЫКВА В ПОЛЕТЕ

Общий характер стагнации при попытке запуска контакт-листа на станции «Киев-Овощной».

Стагнация в данном случае для большинства русскоговорящих граждан планеты означает в первую очередь освобождение от ненужного человеческого груза, от тех бойцов, что давно уже не бойцы.

«Киев-Овощной» был хорошей шуткой для девяносто восьмого года, но сейчас, когда медицина окончательно проиграла пищеварению, как-то даже неловко об этом вспоминать. Неловкость, мы понимаем, здесь исключительно человечная, человеческого свойства, вроде неловкости при обращении недоучки-ветеринара к начинаяющей стареть Галатее. Или наоборот, при обращении недоделанной Галатеи к стареющему ветеринару.

Контакт-лист. Об этом тоже несколько слов в конце.

ВЕНЕРА ДЛЯ ПОСВЯЩЕННЫХ

До уровня мирового скандала.

— Треснула добыча пополам! — вопил губернатор сквозь смех, сжиравший его тело подобно проказе. — Треснула! Пополам!

Идиотский смех губернатора этой специальной планеты, не отмеченной в астрономических атласах, традиционно считался целебным. Крокодилы обретали новую кожу взамен пошедшей на дамские сумочки, а безутешные вдовцы — своих давным-давно утраченных жен, как, впрочем, и вдовы получали свое, подчас вне зависимости от степени безутешности.

— Ой, привалило так привалило! — доносились время от времени вскрики той или иной вдовы, вновь обретшей свою свежую, еще пахнущую землей половину.

С этого обычно и начинался международный скандал. Полчища истинного Плутона противостояли головорезам с неиллюзорного Марса — то есть скандал всегда заканчивался войной, все только этого и ждали, — в результате чего количество проекций, отбрасываемых вершинами эволюции в различные метафизические планы, сокращалось до вполне приемлемого среднего уровня.

Так было. Так будет. Никто не сможет ничего изменить. Никогда. Это — вечность.

— Это вечность! — продолжает смеяться губернатор, потому что время войны еще не пришло.

Через мгновение он серьезен как никогда.

Звезды смотрят в упор. Никуда отсюда не уйду, никогда. Голос из темноты молчит. Молчание — это не тишина, не совсем тишина: в нашем случае — это тишина, помноженная на титаническую силу воли молчащего. Ему непросто, я знаю.

ПОЛИТИКА НЕВМЕШАТЕЛЬСТВА

Закрутил усы, состроил грозную мину и на ломаном русском произнес: «Я тебя объябу!»

Представляю это существо совсем маленьким ребенком, лет трех (пять-шесть и старше — уже безынтересный возраст). Не хотел бы я оказаться на его месте.

Как говорится, лесные разбойники передумали убивать. Эта женщина смотрела на него скорее язвительно, чем испуганно, а ближе к концу — попросту плотоядно. Усач смешно путал личные местоимения и в итоге окончательно сник.

Лесные разбойники передумали вновь. Они засунули ему промеж зубов палку, привязали за нее к дереву (так, что тело было свободно, а голова — нет) и сказали: «Перегрызешь палку — считай, свободен! Или она тебя развязет, когда захочет!» Засмеялись и ушли.

Их потомство — она смогла понести, но развязывать бедолагу не стала, — вырастет, когда меня, скорее всего, уже не будет на свете. Я ведь старый сторож, который всё видел, а был когда-то молодым сторожем, который ничего не видел. Молодым сторожем, который ни во что не вмешался.

Вот это «Я тебя объябу!» меня и состарило, думаю иногда спросонья.

ПЛОХОЙ РАССКАЗЧИК

Писал стихи в подражание Саше Соколову, получалось по-разному. Речь о тех, из романа «Между собакой и волком». Помню только одно, от которого осталось яркое впечатление по причинам, далеким от литературы. Помню только последние две строки из него:

*Но честней машинисту холодный январь
Посчитать похвалой морфинисту.*

Больше он ничего не делал на моей памяти, только стихи писал. Но я и видел его всего два раза, поэтому объективно судить не могу. Машинисты у него насквозь литературны, в этом я уверен, а январь, судя по частоте упоминаний, — просто любимый месяц. «Машиниста» можно смело менять с «морфинистом» местами.

Машинисты насквозь литературны. Причины, далекие от литературы, другие. Должен, злосчастный узник, признать, что эти бессмертные строки обнаружились на одной из страниц моего удостоверения личности.

Случайно или неслучайно? Странный вопрос. Наверное, неслучайно, он ведь хотел это сделать и сделал. Понимал ли он, что пишет на паспорте? Да, теперь яснее. Уверен, что понимал.

Что я говорил о личности? Я ничего не говорил о личности. В конце концов, хоть кто-то может это подтвердить? Стоп. Ха-ха. Ха-ха-ха-ха! Я говорил об удостоверении! Удостоверении личности!!! Ха-ха-ха-ха-ха.

Александр Мурашов

ИДОЛОК

Известно, что по прибытии хеттского царевича в Египет для женитьбы на вдовствующей царице Анхесепамон, и он, и она погибли от рук мятежной черни, подстрекаемой жрецами.

Из конспектов И. К.

Суппилулиума, старый король хеттеян, сокрушивший гордость враждебной Митаннии и покоривший торговые Алеппо и Алалах, обильные серебром и местным ремесленным товаром, вступил ныне в поединок с неприятелем более могущественным, чем те, что прежде бежали от его колесниц, запряженных холеными конями. Новый неприятель бежал пока только затем, чтобы увлечь за собой к ловчей яме с оструганным колом на дне. Государь тщательно остерегался выказывать признаки дряхлости во время долгих, вычурных церемоний, посвященных тому или иному богу из тысячи богов хеттейского пантэона: завоеватели свозили богов, как трофеи, в свою малазийскую столицу, где пленными богами распоряжался

верховный жрец — король Суппилулиума: заклинал их на хеттейском, на варварском хурритском, на приморских языках, родственных хеттейскому. Среди вельмож, судейских и жрецов этот приветливый сухонький старичок, замурованный в золотую чешую оплечья, эгиды, браслетов, колец и прочих сверкающих вещиц, необходимых величественному королю — Табарне, — держался с выпрямленными плечами и выгнутой вперед грудью, так что придворные щеголи шептались: «Молодцом! Что это — военная выправка или египетский корсет?» Однако в отдаленных комнатах дворца-лабиринта он снимал кудрявый парик, откладывал жезл, завершившийся двуглавым орлом, и, в одной красной рубахе, расшитой аляповатыми глазастыми серебряными оленями, поглаживая свесившийся долу крапчатый череп, раскачивался, пожевывающий отвислыми губами, опервшись жесткими ладонями на выпяченные костяные колена, в легком креслице-качалке, меланхолически раздумывая о тех пустяках, что прежде николи не беспокоили его.

Табарна-завоеватель не верил ни в одного из тысячи богов, почитаемых в хеттской державе. Не нужно представлять себе Суппилулиуму закоренелым афеем со скептической, святотатственной усмешкой. Он точно знал, что если верно и красиво исполнить обряд, то дело склонится выгореть; но что происходит после исполнения обряда: как действует механика божественного вмешательства, — было ему неизвестно, да и неинтересно. Мурсилис Древний исполнял обряды — и вступил победителем, свирепым северянином, в Алеппо и Вавилон; это с одной стороны. А с другой стороны (и тут подобие скептической усмешки играло на умных еще губах старика), десятки царей последующих времен исполняли те же обряды, но, пока не поднялся на шаткий престол он, Суппилулиума, святотатец, цареубийца, высокочка, — боги как призничали и увиливали от обычных обязанностей. Что касается смерти как таковой, то дряхлый Табарна, как и

множество его подданных, не противополагал никакого четкого образа всему известному как жизнь. Его зачаровывали другие пустяки.

Великий король — Табарна — верил в бессмертие своего имени. На что ж и царские анналы, и надменные надписи, вырубленные на придорожных обелисках и на стенах путевых дворцов? Однако ему вдруг, со старческой прихотливостью, прихотливостью тяжело больного человека с истомленным и умирающим мозгом, захотелось, как чего-то сладкого, приторно-прянного, вкусненького, такого бессмертия, какого не было ни у Хаттусилиса Древнего, ни у Мурсилиса, Хаттусилисова сына. Про них, как и про Суппилулиуму, можно было с этикетным восхищением сказать, что они охотились на слонов в ямхадском заповеднике, в земле Ния у верховий Евфрата, подразумевая, что торговое княжество Ямхад со своею стяжательской столицей Алеппо покорно королю; охотиться же на слонов было не в нравах хеттеян. А у Суппилулиума появились нежданные виды на Египет. Недавно завязавшаяся переписка со вдовой императора Тутанхамона, дочерью прежнего, Эхнатона, внущила Табарне новое устремление — посадить владыкой Египта своего сына. Это были пустяки, потому что Суппилулиума, как, вкратце говоря, практический человек, никогда не позволял прокрадываться льстивой мечтательности в свои мысли, а только жеманная мечтательность могла изобразить гордую южную империю припадающей к желто-крапчатой руке хеттского короля. Но нынешние обстоятельства подстrelloвали мечтательность, и Суппилулиума не сопротивлялся, из его почти беззубой пасти пахло дерьяном, полы рубахи с аляповатыми оленями отдавали недержанием мочи, в уголке рта слиплись две черточки пенной слюны, похожей на суповую накипь.

У нас в семье много ли было умников, подобных прадеду? Рассказывалось, что он бежал от свирепостей миттанийской орды из Алалаха-города на север, в страну хет-

теян. Был он сам потомком критских беглецов, с певучим морским именем и варварским прозвищем. Алалахская династия князей, начавшаяся с митаннийского варвара, толстяка Таку, уклончиво колебалась между Митанней и дальним Египтом, ставя то и дело себя под удар — из чрезмерной осторожности, что произошло и тогда. Прадед, молодой фаянсовщик, остался единственным хранителем секрета стеклянной обливки, купленного алалахским горшечным цехом у ассириян: цеховых товарищей прадеда поубивали. А прадед, прибывший в хеттейскую столицу, Хаттусас-город, распустил украдкой слух о том, что владеет тайной, и даже совершал чудеса, получая от горожан шершавую шлифованную глиняную посуду и возвращая ее глянцевитой, синей и желтой. И тогдашний Табарна Тудхалия призвал беглого алалахца во дворец — прежний королевский дворец, который был, по преданию, лишь беспорядочным скоплением террас, приемных залов, башен, сараев, складов, прилепившихся к амбарам и конюшням, и ступенчатых храмов.

Тудхалия, спустившись с божественного трона, приязненно пожимал приезжему ремесленнику кисти и локти, умоляя его поделиться с придворными ремесленниками ассирийским секретом. Но фаянсовщик отпирался: он-де не совершал чудес облицовки и ему неизвестен ассирийский рецепт глянцевой плитки, синей и желтой, которой Тудхалия хотел украсить королевский дворец. Тогда Табарна разгневался: «Ты не почтенный ремесленник! Мне говорят, что ты привез с собой много серебра — но откуда это серебро у простого горшечника? Ты, верно, убил кого-то в горах и ограбил. Мое великое Солнце, Табарна хеттеян, обвинит тебя в городском судилище как разбойника!» Сутяжничество было страстью рыхлого, неудачливого на войне короля с красивыми, нежными запястьями и тонкими пальцами, ложно — или горько — свидетельствовавшими о благородстве характера. Фаянсовщик помедлил и сказал: «Я рыдаю о том, что Алалах,

зеница Ямхада, принадлежит грязным варварам-иранцам, трусливым дикарям, хоронящим покойников в подполах. Но, я думаю, алалахская тайна, привезенная в мой город с Востока ассириянами, всё же избегла плена, горами ушла от них». Когда Тудхалия услышал, как близок к единственной, по правде сказать, возможности отомстить враждебным и опасным митаннийцам, у него заныли ледяным зудом зубы от досады. «Чего ты хочешь, в конце концов?» — воскликнул Табарна. «Я хочу, Твое Солнце, чтобы я и мои сыновья и внуки служили дому Табарн и не платили подати, не преследовались судом по делам ремесла в хеттейском Хаттусасе, — ответил рыжебородый лукавец-критянин. — Напиши табличку и оттисни на ней королевский серебряный цилиндр с двуглавым орлом, а я запишу рецепт стеклянной обливки на другой табличке, чтобы она хранилась у тебя». Обменявшиеся табличками, они принялись их читать; но если табличка Тудхалии была написана на хеттейском языке, который был уже знаком фаянсовщику, то на табличке алалахца Тудхалия не понял ни единого знака. «Не удивляйся; я запечатлел секрет потаенным рисунчатым критским письмом. Клянусь, что в моей семье сыновья будут обучаться у отцов лишь горшечному ремеслу, а затем — искусству толковать секретные знаки. За рецептом же стеклянной обливки они станут приходить к хеттейским королям. Так мы разделили тайну», — объяснил лукавый горшечник с критским прозвищем и варварским именем.

Полулежа, облокотившись на локоть, я рассказывал моему господину и тезке, царевичу Мурсилису, о Крите и о великом Царе-Быке, в рабскую службу которому северные данники присыпали каждой весной сотню самых красивых юношей и сотню самых ласковых девушек. А критский Царь-Бык обивал свое умащенное нагое тело цветочными гирляндами и, выходя лишь однажды в год из лавириンфа внутренних покоев, танцевал на нижней

террасе дворца. Его называли Царем-Быком, замечал я, потому что его тиара напоминала лирообразные рога, а лицо он скрывал ото всех золотою бычьей маской. Но Мурсилис, морщась, останавливал меня: «Мурсилис, перестань перебивать себя самого! Ты уродуешь отличную сказку неуместными мудрствованиями», — и отламывал кусок пирога с изюмом, на котором кондитер с помощью углубленной глиняной формы выпек двух леопардов у священного дерева жизни. И я покорялся и продолжал. Однажды брат великого Царя-Быка, по имени Сарпедон-князь, сговорился с недовольными — а во всяком государстве найдутся недовольные (робко вставляя я), таково свойство характеров, — и замыслил запереть Царя-Быка во дворце-лавирине, который только глупые провинциалы называли лавириинфом, потому что никогда не видели таких огромных дворцов, как дворец Критского Владыки или Табарны хеттеян. Но заговор не удался, и священный Царь выслал нечестивого брата на побережье материка, в сердце которого и лежит страна Табарны Суппилулиумы, отца моего господина.

— Видишь, как странно, Мурсилис, — заговаривал царевич после почтительной паузы, соответствующей аплодисментам на ристалище или похвалам слепому сказителю, — мы высылаем наших провинившихся князей на остров, а островитяне — к нам, на материки. Всё наоборот. Где для нас — сердце, для островитян — колени. Их материки — это остров и их остров — это материки. В том-то и мудрость истории, которую ты считаешь нужным толковать по-своему, в меру ограниченного горшечного ума. — Он замолкал, и лицо его из назидательного становилось торжественным и подернутым каким-то вдохновеньем, он говорил нараспев. — Сколько голов у орла Суппилулиумы? Сколько леопардов у священного дерева? Когда ты поднимаешь правую руку, зеркальное отражение поднимает левую, которая для него и есть правая, — много он же всего заучил!

Наступали новые времена для страны хеттеян. Наследник Мурсилис, избравший меня наперсником, временами ударялся в метафизические парадоксы, занимавшие его покамест праздный ум. Он был любимцем великой королевы, Таваннаны, поэтому прижимистая казна не жалела серебра для его забав, и он встречался с теми внезапными озарениями, которые припасает для своих избранников роскошная пресыщенная лень. Он был любвеобилен, и его благосклонности принадлежал не только я. Для того чтобы умилостивить одну распутную красавицу, он приказал насадить в ее поместье аллею шиповниковых кустов от ближайшего леса до самой виллы, и по этой аллее преследовал ланей, поднятых в лесу ухоженными и игривыми королевскими собаками. Придворные прозвали Мурсилиса «Князем-Шиповником», а распутную даму — «Княжеской ланью». Снисходя к своей причудливой славе, она заказала столичным мастерам золотой ошейник с выложенными индийскими камнями мотто, которое носили на железе звери в государевых заповедниках: «Не трогай меня — я принадлежу Дому Табарны». Однако, несмотря на ошейник, она не изменила своему вольному нраву и продолжала отдаваться кому ни попадя, вельможам, пажам, торговцам и заезжим капитанам, хамоватым и насмешливым, с шершавыми ладонями и колющеющейся щетиной, а они одаривали ее. Однажды подмастерье из артели каменщиков пришел к ней и положил пригоршню серебряных монет. «Откуда у тебя, простого каменщика, столько серебра? Наверное, ты напал на кого-то и убил в горах», — воскликнула она с презрением и испугом, но он объяснил, что триста артельщиков сложились по монете, чтобы один из них, выбранный по жребию, обладал ею. Счастливый жребий выпал ему. «А ты можешь отыскать ту монету, что была твоей?», — спросила уступчивая дама, оживившись. Он ответил, что очень легко, потому что это был старинный серебряный кружок с собакой. Она растрогалась и, отыскав монетку, вернула

ее подмастерью, говоря: «Ты единственный, кому я уступлю безвозмездно». Мурсилис, просльшавший об этом, впал в печаль и гнев: праведно ли тою же рукою ласкать и господина, и раба? И тогда, как древле Властительница Заклинаний утишила дымно и чадно рассвирепевшего Телепину, так Таваннана утишила ярость сына, подарив ему хорошенъкого мальчика, черного как уголь. Мальчик очень любил закусывать подслащенное вино крабами из северного моря. Царевич Мурсилис, охотно выказывая расположение, стал жаловать ему ежемесячно по двум сотням крабов, на вызолоченных спинах которых были тщательно выписаны гербы Дома Табарны — двуглавый орел и два леопарда у Древа Жизни. Не знаю, что происходило между наследником и его любимцем-негром, но я, хотя и принимал иногда от Мурсилиса ласки, не вполне обыкновенные среди суровых хеттеян, всё же ни разу не был игрушкою печали его чресл, и вскоре убедил наследника отказаться от недостойной любви, что он возместили не без щеголеватости новыми похождениями с нескромными женщинами.

При разговорах о старом Крите присутствовал иногда и юный принц — свежий и тонкий месяц новой хеттейской династии, грустный странник Цаннанцис. Он был очень слаб и бледен, подобно узкому месяцу, юноша с нежными, округлыми, почти материнскими очертаньями светлого худого лица, слишком прозрачного, и черными, как ночь, слишком мягкими волосами. Таваннана его не любила. Я назвал его «грустным странником», потому что странствия он начал прежде, нежели кавалькада колесниц сопроводила его в Алалах и оттуда в левантийскую гавань, к египетским кораблям. Он блуждал в темных временах и не какого-то доходягу из его княжащих братьев, а его самого следовало бы называть Телепину, Господом, оплетенным болотными лилиями. Постоянное лицедейство занимало его сумеречный ум: он целыми днями примерял торжественные маски былых божеств, бросал-

ся, изнеженный, изможденный и молящий о милости, в жестокий поединок со Змеем-Хаосом, страшным Апопом Египетским, который оплетал его почти любовными кольцами — так орлиный месяц по-девичьи любит ночи мглу. Он уверял, что древняя солнечная богиня, покровительница и наставница Табарн, — не дикарка Иштар, которая могла бы кичиться одними бесстыдствами, и что усыпленного болотными испарениями Телепину отнюдь не Иштар пробудила, спустившись в ад, а госпожа Камру-сепа-пчела, ужалив спящего бога в ступню.

Он заказал моему отцу небольшую, в локоть высотой, терракотовую фигуру Господа Телепину с обсидиановыми глазами, покрытую разномастным глянцем, и собственноручно подсыпал благовония в чаши треножников по бокам Идолка — так прозвали этого терракотового кумира во дворце. У глиняного Телепину в улыбке пунцовых губ мерещился женственный, предательский извив, а в нарочито зауженном теле с выдававшимися бедрами, это было в новейшем египетском вкусе, — почти непотребная грация. Но Цаннанцис поддавался обаянию Идолка тем страстнее, чем меньше напоминал он громоздкие базальтовые статуи хеттейских богов и царей. Казалось, их было двое у пожухшего и чахнувшего Древа Жизни — тонкий и свежий, как молодой месяц, Цаннанцис и его болотный бог с заостренными костями сгибов рук. Когда господин Хани прибыл в столицу хеттеян из Египта, населенного более мумиями, чем людьми, с запечатленной на табличках просьбой своей овдовевшей императрицы, сватовской выбор пал на Цаннанциса.

Деревянными вилочки с маленькими литаврами на проволоке — систры — и набедренные барабаны, обтянутые хищными шкурами, сопровождали стуком и звоном белоснежный паланкин, в котором темные, как мореное дерево, нубийцы несли Его превосходительство господина Хани, негласного посланника южной Империи. За колышущимися, как сны, занавесями паланкина он, с по-

блескивающей золотой головой, обритой наголо в знак скорби по Господу Осирису, перебирал четки и играл за изящным старинным столиком из слоновой кости в шашки с ученым павианом, время от времени раздувавшим огромный малиновый зад. Как большинство вельмож нынешнего двора, он одевался только в белое и розовое — цвета лотоса, а из металлов и камней позволял себе исключительно золото с изумрудами, поэтому в поэтичные цвета столичной меланхолии, цвета нынешних стовратных Фив — черный, желтый и фиолетовый — были окрашены шашки и веер вельможи. Бродячие фокусники, акробаты и клоуны, прибившиеся к его свите, по целым дням пытались развеять непристойными и дурашливыми трюками величественную грусть фиванских сфинксов, усугубленную неровностями горной дороги. Но господин Хани repetировал. Он, секретный посланник священной императрицы, должен был явиться среди северных варваров во всем величии униженностии; он и был униженной обстоятельствами Империей. Во всем свете не было владыки могущественней и благороднее покойного Тутанхамона, супруга императрицы с невыговариваемым именем, начинавшимся на «А»; на севере ее привыкли называть просто «А». Но солнце закатилось, а род не был продолжен — как и множество других родов при тогдашней династии. Мумий становилось все больше и больше, и иногда люди не знали — живы они или уже мумии. Золота тоже было слишком много для немногочисленных, худых, слабеющих рук. С «чистых» палуб пятиэтажных прогулочных кораблей императрицы А золото бросали в море, дразня пугливых и любопытных рыб, и невольники-гребцы с нижних «нечистых» палуб смотрели, как браслеты и перстни ценою в их свободу, в свободу целой семьи, падают, рассекая лазорево-зеленые волны. Госпожа А огляделась и увидела, что нет во всем свете владыки, подобного покойному императору Тутанхамону, — кроме Табарны северных варваров, который беззастенчиво отторг у егип-

тян приморскую Сирию и истоки рек ассирийских. «Разве кто-то из князей, живущих ныне, достоин стать мужем гордой египтянки и взять в приданое страну Египет? — писала А. — Они только лавочные приказчики с грязными ногтями, вот они кто такие. Но твои предки владели Ямхадом и однажды обрушили в пески Вавилон, ты сжал надменное сердце Митаннии и выпил медь Аласии, ты преломил тысячелетние кипрские кедры, как жнец подрезает серпом колосья. Не было в свете владыки, подобного Тутанхамону, — кроме хеттейского Табарны. Нет среди князей живущих ни единого достойного стать мужем гордой египтянки, внучки Солнечного Диска, и взять в приданое страну Египет, кроме хеттейского принца, сына хеттейского Табарны. Или мне отдать мою страну приказчику? Или мне стать женой раба своего? Постыдно это было бы на ложе моем, и оскорбила бы я Солнце на ложе моем. Не смогла бы глядеть в зеркало и украдкой заслонялась бы от своего отражения ложечкой для благовоний. Вот, у тебя много сыновей. Отдай мне одного, он будет супругом и братом моим, Осирисом Египетским, только сын от печали чреся хеттейского Табарны не постыден на ложе моем». По правде сказать, красноречие этого послания скорее отражало стиль, присущий скучающему двору, нежели лицо А. Она заслонялась ложечкой для благовоний.

Конечно, А не льстила Суппилулиуме мнимым благородством: сама была по крови не слишком далека от адресата, поскольку уже не раз египетские царевичи женились на принцессах-хеттеянках. Не переоценивала она и могущество Суппилулиумы, который и впрямь, по изысканному выражению императрицы, сжал надменное сердце Митаннии и выпил медь Аласии-Кипра. Может быть, она немножко путала благородство и могущественность. Но та надменная аристократка, что должна была рисоваться и за пренебрежительными словами о рабах и приказчиках, и — в не меньшей степени — за женской простотой просьбы, была на деле сходящей с ума от стра-

ха и ненависти семнадцатилетней девушки, окруженной коварными и опасными вельможами, тянувшимися к скипту ее мужа и разоряющими ее казну, подобно женихам в доме Пенелопы, и у нее не было сына-Телемаха. Она должна была стать безмолвной рабыней одного из прежних чиновных холопов юноши-Тутанхамона. Но А решила пожертвовать государством, которое она препоручала опеке хеттеян. Она могла гордиться тем, что не уступила воле нижестоящих — как и не должна была уступать никогда. К тому же церемониал нынешнего двора и дела египетской политики были так усложнены и запутаны, что А получала в одном лице и мужа, и сына, который еще долго не сможет ходить, не держась за ее фиолетовый узкий хитон. В этом она походила не на женщину, мечтающую о муже или ребенке, а на девочку, мечтающую о кукле.

«Однажды, Мурсилис, мой покорный друг, я с напущенным, как будто покрытым маской, лицом и в серебряной диадиме, стану — я, нынешний эпиграмматический Князь-Шиповник, великим государем, Табарной хеттеян. Потому что мой старший брат, Царевич-Жрец, лишен, по несчастью, мужской доблести и не может наследовать нашему отцу. И мне придется жестоко оберегать свое mightство от посягательств прочих принцев. Посмотри на Цаннанциса, он мерещится себе героем и божеством, а ему надлежит увенчаться лишь княжеской короной одного из завоеванных городишек в захолустье. Потерпит ли он? У хеттеян может быть только один герой — на престоле Табарн, в Хаттусасе». Эти слова Мурсилиса я повторял, сопровождая — по смерти моего почтенного отца — кортеж царевича Цаннанциса, который с обритым господином Хани отбыл в Алалах, чтобы оттуда отправиться в гавань реки Оронт и на египетском пятиэтажном корабле миновать море, разделяющее владения хеттеян и египетскую Империю. И это были странные слова. При дворе Цаннанциса называли уже не иначе, как императором Египта, Новым Осирисом. Но Мурсилис говорил не о том,

что было, а о том, что могло бы быть. Он долго беседовал с господином Хани и тот скорбно склонял обритую голову, передвигая фиолетовые шашки против желтых шашек наследника. Что бы это значило? Сколько леопардов у дерева Жизни?

По дороге Цаннанцис с хеттейской и египетской свитами посетили долину уснувшего Господа Телепину. Тут, среди скал, в потаенных пещерах, в полной темноте, женщины и отроки, покрытые с головы до ног сетями терпко благоухающих цветов, приподнимали цветочные пути с бедер пред чужестранцами, которых приводили — за небольшое подаяние — жрецы, по извилистым тропкам над скалистыми ручьями, окружеными ярким кустарником. Юноши, одетые в леопардовые плащи или в панцири из бычьей кожи, овладевали по ночам деревьями, отдаваясь царапающим ласкам их движущихся сучьев, а на деревьях расцветали огромные птицы с красными, белыми и огненно-лазоревыми лепестками. Пестиком такого цветка можно было бы лишить невинности двенадцатилетнюю девочку, что и происходило под звон систров и бесноватые выкрики танцующих масок, под завывания флейт и пlesканье кифар, и девочки зачинали и рождали козлоногих младенцев с козлиными бородками, которых либо отпускали в леса, либо замуровывали в сосуды и закапывали между корнями дерев. Когда блистала полная луна, мужчины были больше не мужчины, а женщины больше не женщины: мужчины и женщины менялись одеждой и подражали повадкам друг друга: мужчины заменяли женщин и отроков в темных пещерах, а женщины и отроки с песнями касались красных, белых и огненно-лазоревых цветов kostяными жезлами, чтобы рассеять пыльцу. Прибывающему и убывающему свету луны следовали они в своих торжественных соитиях и после с пением омывались в струях водопадов, серебряных от озаряющего лунного света.

Одевшись, с робким интересом, в домашний наряд одной из гетер, я направился к царевичу Цаннанци-

су. Скрытый от глаз, он рыдал в глубине шатра, перегороженного ширмами, где Идолок возвышался над ним с презрительным и жестоким взором шлифованных бельм из пепельного вулканического стекла. Я сжал умащеннюю босую ступню царевича в руках и спросил о причинах его тоски.

— Иштар — губительница! — воскликнул он. — Разве ты не знаешь, что она обращает своих женихов в зверей? Она порождает нас и она же уничтожает, она только прикидывается благосклонной, но безразличные горы и безразличные камни, бесчувственная трава, деревья, бессловесные скоты, разлагающаяся падаль — всё это Иштар. Зачем я покинул своего отца, что служит велико-му Солнцу и небу на верхней террасе храма, на самой его крыше?

— Ты станешь сыном Солнца в египетской стране, — сказал я те несколько слов, что долго репетировал, чтобы не запнуться и сказать как можно более утвердительно и успокаивающе.

— Я и без египетской страны — сын солнечного Табарны, избранного богинею хеттеян, пчелой Камрусепой! Зачем же отец отдает меня на растерзание Иштар? Великой Камрусепой я заклинаю отца: снимите путы с безнадежных рук, кровавые узлы беспощадные развязжите!

Не отрывая глаз, я смотрел на юного принца с жалостью, и мне хотелось было прижать его исхудалое тело постника к своей умащенной груди. Это было сочувствие, будоражащее стыдливость до ледяной дымки в животе; несчастный юноша был почти обнажен; бывает сострадание такого щекочущего свойства... Но я вспомнил о своей благодарной преданности Мурсилису и заговорил (о чём сожалел после, до того всё объясняющего дня, когда с напудренным лицом, как бы покрытым серебряною маской, мой господин Мурсилис, водрузив диадиму на уложенные благоуханным маслом волосы, поднялся на башню молить богов Хаттусаса об изведении чумы): — Посмотри-

те на луну, властительнице здешних обитателей, Ваше высочество. Она всё время меняется. Сегодня она девственная Камрусепа, а через несколько ночей — Иштар в полном сиянии, ослепительном для человеческих глаз. Но сияние Иштар — залог того, что она станет нежной и тонкой Камрусепой, изящной пчелой, пробуждающей Господа нашего Телепину, а прозрачный и зыбкий свет Камрусепы, матовый, как воск, — залог, что вернется Иштар. Солнце неизменно, в Египте и в хеттской столице оно украшает золотыми бармами плечи царей, а Луна не постоянна, она и дева, и блудница, и юноша, и женщина. — Никогда еще на хеттском языке никто не говорил подобного. Я видел, что слова мои оглушали, как гром, хотя и сказаны были тихо. Если бы я знал, что обрекаю принца на гибель среди взбунтовавшейся черни, подстрекаемой египетскими вельможами и жрецами! Что царевич мог ответить мне? Только одно: «Так распорядились боги», — и я повторил: «Так распорядились боги». Он отослал меня, чтобы наедине с Идолком обдумать мои слова, и я поспешил в глинобитную хижину пастухов, выделенную мне и моим камердинерам для сна, собираясь там записать поразительные слова на табличке прадедовским шифром, которым был запечатлен для Тудхалии-Сутяги секрет ассирийского фаянса. Не сразу, не вполне поддаваясь мгновенному ужасу, я понял, что тайный язык я забыл.

БЕДНЫЕ ПРЕСТУПНИКИ

Легенда про кровь крестоносца

Барон любил батальные картины.
Марсель Пруст

По прибытии Валье удостоверился, что Кардинал и впрямь толково позаботился о нем. Шумный, подвижный синьоре, присланный встретить его, провел иностранца тесными улочками, берегами каналов и мостиками в палаццо Берголи. Это не был «палаццо» в обыкновенном смысле слова, то есть внушительное сооружение посреди щебечущего сада или хотя бы (что более соответствовало бы месту) своенравное венецианское здание, Ca', торжественным и в то же время изящным порталом выделявшееся из череды сокрушных фасадов, средь которых вкраплено; это был неказистый в общем-то, безыскусный снаружи трехэтажный дом с двумя парами узких сдвоенных арочных окон на каждом из двух верхних этажей, выходящих своими восемью проемами на классический тускло-смарагдный канал и узкую булыжную пешеходную кромку — *fondamento*. Палаццо был втиснут между подобными же зданьями; на его крыльце попадали сквозь единственное отверстие нижнего этажа, темную, низкую, промозглую нору «подворотни»-*sottoporto*, ведшей в замкнутый двор; со стороны двора лепнина наружной лестницы с трубящими тритонами на дельфиновых спинах и вазы на кровле обветшали, осыпались, растрескались двери с облупленной позолотой резьбы, но темные залы

внутри, просторные и прохладные, с шахматным каменным полом и пыльными продырявленными шпалерами могли принадлежать лишь подлинному са' венецианского аристократа. Фарфоровые панно и роспись на потолке в большой столовом зале отмечали сомненья: набухшая завитками керамика в китайском вкусе осталась от времен утонченных просветителей, а парящие сверху боги, нимфы и купидоны манерой рисунка и увядшими в сумраке красками указывали на позднее шестнадцатое столетие — помпезную вечернюю зарю Возрождения.

— Берголи... Берголи. Это ведь не аристократическая фамилия? — спросил Валье, плохо, но все-таки знавший по-итальянски.

— Конечно, нет, — ответила синьора Гарита, хранительница, манерным, томным голосом; у старухи были выпущенные, глядящие в разные стороны глаза на худом лице, как на знаменитой дюреровской гравюре. — Палаццо принадлежал господам Доломеи.

— А... — откликнулся Валье. — А где же они сейчас?

— Померли. Или уехали. Chi sa?

Мебели почти не находилось; только смежные опочивальня и большая зала, обустроенная под кабинет-библиотеку, были застланы теплыми ворсистыми коврами, в опочивальне стояли огромная кровать под тюлевым пологом, древняя жаровня и легкомысленный плетеный столик; несколько прилизанных подделок под ведуты восемнадцатого века свидетельствовали, что дом сдается эстетирующем приезжим. Зато кабинет — он так и писал Кардиналу: «Спать я могу на кушетке или тюфяке в какой-нибудь маленькой кордегардии, но прошу Вас о достойном кабинете», — был великолепен. Тут была, в укор городским видам из опочивальни, подлинная ведута, напоминавшая Альботто, была и недурная копия с одной картины Каррааччи, помпезный камин в панцире разноцветных каменных плиток, свежая темно-аквамариновая с голубовато-серым ткань на стенах, шандалы с

ампирными сфинксами, шагнувшими из войн Бонапарта, а за сквозистыми узорчатыми ширмами арабского или турецкого пошиба — укромное, пышное, обволакивающее кресло с английской высокою ушастою спинкой. После копии с Карраччи и воображаемого Альботто он присмотрелся к небольшой сценке в манере Лонги с двумя масками в переливчато-лиловатых плащах на пятнисто-зеленом фоне и к непонятному мифологическому холсту с очень изящным профилем фавна в углу. Этажерка с неизменными прижизненными изданиями величайшего поэта полуторавековой давности, либреттиста Метастазио, нудными трагедиями Альфиери и бедекерами, была украшена инкрустированной бивнем и перламутром дамасской деревянной шкатулкой, на крышке которой угрюмо, пасмурно сверкали малиново-багровые камни. «Плоды граната Прозерпины» — процитировал себе Валье одного из персонажей Д'Анунцио, венецийского поэта-героя.

Валье почудилось, что волосы выбились прядью, и он подошел к зеркалу в раме с купидонами. Но себя не увидел. Стеклянный блеск темной воды окружал силуэты одряхлевших дворцов, почти не жилых, существующих для любования туристов. Он украдкой взглянул на синьору Гариту. Она не смотрела на него, но сухие узкие губы были подернуты усмешкой. Значит, это игрушка, фальшивое зеркало. Он отошел на шаг, и оно потемнело. Старый город похож на кукольный дом выросшего ребенка; его хранят, им любуются, он овеает воспоминаниями; но он уже не используется для игры.

Он уселся за резными арабесками турецкой ширмы, когда хранительница покинула его. Положил на колени доску для письма, вынул из нагрудного кармана портмоне с крошащимися, сложенными в несколько раз лоскутками. «Вы уверены, Григорий, что Комитет согласится с предлагаемым Вами замыслом? Насколько Вы управляете Комитетом?» — настойчиво высматривал Кардинал,

и быстро бежала строка его витиеватого и решительного почерка. «Комитетчики же ничего не знают. Они считают, что Вам, Ваше преосвященство, нужна для каких-то Ваших клерикальных дел революция в Петербурге», — усмехнулся Григорий, чуть шевеля изогнутыми тонкими губами над письмом. Он догадывался, насколько российский переворот и анархия далеки от сокровенных, взлелянных и выпестованных намерений Кардинала. «Поймите меня, Григорий, Россия сама по себе мало значит для Капитула, созданного еще в те времена, когда дикие московиты казались такими же далекими, как теперь племена глубинной Африки. Мы хотим воспользоваться беспорядками, и не пожалеем никаких пудов золота на то, чтоб беспорядки начались», — тихо говорил ему Кардинал тогда, в Будапеште, в старинном беленом доме на черных балках рядом с Матиашевым готическим собором, с Чумным столбом пред ним. В лице Григория было нечто волчье. Эти домики на горе Буды, с их бордово-красными черепичными крышами, двухэтажные, скопились гурьбой над обрывом к Дунаю — пройди сотню шагов по булыжным площадям. Валье знал, что неподалеку, в Эгере, городке к северу от столицы (выпуклый розовый фасад тамошней церкви Антония стоил, по его профаническому убеждению, флорентийского зрелища площади Синьории — эту мадьярскую церковь он сравнивал с мадридской папскою Архангела Михаила) таинственный Капитул, скучно известный ему, скучно познанный им, держит своего могущественного эмиссара; видимо, ради него Кардинал и посетил отдаленный северо-восточный край.

Вдруг он вскочил и почти подбежал к непонятной мифологической сцене: темный, рыже-коричневый лес под беззаботной лазурью, кристаллически четко выписанная вода, над ней — лесным потоком — два белеющих, маленьких тельца купальщиц, а фавн подглядывает за ними — но лишь согласно роли в картине, так как он не обернулся длинноухой головы с переднего плана к ним на

средний; и странно, странно: картина — несомненно семнадцатого века, какого-нибудь фламандца, учившегося в Италии, а матерый, насмешливый рогатый распутник — во вкусе стенных росписей Возрождения. Валье провел глазами по линии его взгляда — вектор резанул в окно. За окном — куриный, грязный двор, сущатся или проветриваются какие-то мебельные накидки. Голова фавна была непропоминаемо знакома Валье. А в противоположной стене, просто оштукатуренной, как-то аляповато посажены были смежные стрельчатые окна, окаймленные мраморной резьбой и разделенные колонкой; больше окон не было, лишь у самой крыши — ряд из нескольких маленьких квадратных дыр.

Тут он понял, что за запах пробивается сквозь мандариновый аромат, веявший по комнате. Это был запах паленой шерсти. «Ну, простите, я чистила гребень и бросил пучок волос в камин», — расстроенно призналась пуцеглазая ссохшаяся синьора Гарита.

Всё это развлекало Григория. Он побаивался ночи, вернее — необходимости хоть несколько часов поспать, чтобы не быть изможденным и вялым днем и не дремать вместо прогулок по новому городу; но знал, что заснуть не может — без теплого коньяка. «Я найду здесь его, я его найду», — убеждал себя Григорий неизвестно о ком: о коньяке?

Приглашение на бал в не слишком уважаемом доме Валье получил от Кардинала, который требовал, чтобы его постоялец ежедневно, как другие заполняют очередную страницу дневника, отсыпал ему о прошедших часах прогулок и размышлений. «Вы знаете, какую важность мы Вам придаем... Считайте, что я принимаю исповедь от Вас», — пояснил высокопоставленный ватиканец. На балу, оповещал «преосвященство», должен был показаться завсегдатай парижских кафешантанов, повеса и выродок принц Д'Акеларр.

Он шел утром того золотистого дня по набережной и, прищуренными, ослепленными глазами рассматривая

дробные, мозаичные отражения зданий в мелком плеске канала, вспоминал. Грязные от земли и песку, истертые, зашмыганные, исцарапанные собаками ковры вынесли из дома вместе с пушистым зимним теплом закутков, вместе с пылью и сором, выметенными вслед ним, с прижившимися оттенками потускневших цветов. Их волокли по саду, чуть приподняв над землей, и они плескали краями по лужам, тащились и шлепали, по чавкающей слякотной земле; их свалили неловкими рулонами в один из полусгнивших амбаров; там, за садом. Молодые селянки мыли окна. Вынимали двойные рамы, тяжелыми створками, впуская немилосердно палящие сумрак лучи, ярко отраженные еще не растаявшими там и сям грудами снега. Маленький Григорий Габалов, еще без залысин и толстого носа, оказавшийся в ледяном марте в Лешево, «у дядьёв», в не-привычной скуче дворянского упадка после отточенной, комфортной, европейской роскоши отцовского дома, теперь, ослепленный, видел лишь мельканье движущихся больших, свежих и грубых, закрасневшихся от кипятка и мороза женских рук, исполнинских рук, метавших лучи и колыхавших его, мальчика, словно в колыбели, в струях этих лучей. Его будущие стихи, поэма, никогда не законченная, «Океаниды», обольстительные, поспешные, бойкие романы, которые он будет писать по два в полгода под псевдонимом, — всё пропадет, все ускользнет, как эти ударявшие в него и летевшие за спину лучи, но тогда, лешевским мартом, они представляли ему какими-то очень забавными, жуткими и красивыми в самом уродстве своем рожицами. А за спиной его стоял тихий и болезненно-белый мальчик, с которым Григорий не любил играть, с младшим, с кузеном Владинькой.

Если бы Григорий, не тот малолетний Григорий, которого Океаниды качали в солнечных волнах, а тот Григорий, который в нем уже, кажется, корпел, качаемый нимфами в Гроте Венеры за окраиной зачумленного го-

рода, над исчирканной страницей черновика, исписанной мушиной буквицей меж строк, вкрапленных между зачеркнутыми строками, и раздраженно и быстро диктовал секретарю на беловик, и поглаживал отпечатанные одинаковые книжки, господин Габалов, прославленный декадентскими, «цветочного письма и очень со вкусом к порочному тож» стихами и рассказами, затерявшимися в старых журналах, — увидел бы себя со стороны дверного проема, где прятался от этого холодного, весеннего огня кузен Владинька Дымский, он, быть может, в единственный случай за долгую жизнь, пережил бы тот страх пред собою, который чувствовал потом иногда подступающим, но подступившим — никогда, и о котором имел чувственное, телесное, но никогда не испытанное представление.

Деревенька Лешево сползала, в томном лености ясного дня, по склону бугра в овраг, простирая горе, как поднятые для знамения три строго сжатых бледных перста, коническую желто-белую известняковую колокольню — церковь была самой верхней вехой ската, почти на загривке холма; у церковных стен, у росстани, сквозь дряхлую желтизну сиял, иногда, при некоторых паденьях лучей, наливной цвет влажной от тепельной февральской луны: словно блистал какой-то особенный камень, нетемнеющий, светящийся в синей ночи. Поместье у подножия принадлежало господам Габаловым, но давно уже в здешней усадьбе жили габаловские родственники Дымские. Фамилия их была стара, как и имя деревеньки, и описанная выше колокольня, видимо, сооруженная веке в шестнадцатом.

Валье не ожидал услышать быстрые, резкие, громкие звуки канкана в венецианском особняке; впрочем, это и не был особняк — это был опустошенный склад с чем-то вроде просторных меблированных комнат в бельэтаже. Он изумлялся коленам в розовых чулках, почти дотрагивающихся до вспотевших лбов танцовщиц. Что — музыка? Он не мог бы не заскучать и не отвлечься ни на одном

анданте или ларго, но не мог и не отбить подошвой менуэт или вальс в каждой симфонии. Многие из гостей были маскированы. Его приветствовал поляк Свенцовский, прошептавший тут же, под вступительные звуки Штраусова вальса: «А вот и принчипэ. Посмотрите на него — псякрев, какой шик!»

О принце говорили, что он интересуется только женщинами, лошадьми и картинами — прочее не глядя отшвыривает от себя. Это был большеголовый, очень невысокий полный молодой человек со спесиво выдвинутой нижней губой и скучающе-надменным лицом, которое уродовали еще и очки с толстыми линзами, проворные в тысяче мелких движений вверх, вниз, вбок, как вынюхивающая мышь. Он шел по-утиному, вразвалку, животом вперед. Угрюмое лицо казалось отталкивающим в маскарадных потемках. Музыка нравилась Григорию, хоть и праздному любителю Моцарта, Бетховена, даже Вагнера.

Валье с ужасающимся любопытством следил за Свенцовским. Он знал поляка за человека то ли от рождения очень жестокого, то ли озлобленного и глупого, питерского студента-химика и католика-националиста. Теперь он видел, как худой и бледный постник самим приоткрытым ртом и искристо выпущенными влажными глазами следит за «падшими женщинами» возле д'Акеларра. Это был восторг обалдевшего, как от картечной игры, ипподромного sportsman'a — но не алчного игрока на свои. Он словно созерцал то ли скачки девок-кобылок, то ли резню гладиаторов — но это лишь карточные картинки. Принц был страшным и завораживающим могучим хищником, медленно, без колебаний и без охоты приближившимся к замершим христианским девственницам: мнимым. Но не зря и временное кабаре в Венеции названо «Мышеловкой».

Особым благоволением Свенцовского не без удовольствия пользовалась Пиранья — маленькая, кособокая, но удивительно притягательная женщина — то ли из-за лос-

нящегося, теплого и трепетного, какого-то приглушенно-свечного цвета кожи, то ли из-за выпадов бесстыдства, которого не позволила бы себе стелющаяся кошечка — знатоки считали ее «зубастенькой» и было трудно объяснить, что зубастенького в довольно вульгарной кокетливой веселушке-зануде с шаловливо-утомленным лицом. И сейчас он видел какое-то ожившее чудовище из вымерших, гигантскую рептилию, которая пожирает Пираний одну за другой. Свенцовского это держало магнитом. И Валье слушал химика, который, не глядя на него, пояснял, перечисляя «куртизанок». «Вы бы лучше *gratia plena* читали», — усмехнулся Валье ненавязчиво.

Тут, средь богатых и, возможно, высокопоставленных мужчин с лицами-наволочками, была и светловолосая кафешантанная певичка Николетт, прославленная признанием: «Я была верна лишь тем мужчинам, которым отдавалась через четверть часа после знакомства и которых забывала через четверть часа после того, как мной овладели: у меня попросту не было времени изменить!» — и царственная графиня Вани, с тем же происхождением титула, что и несчастная Дюбарри — и робеющая, похожая на лилию с флорентийских картин Алели, казавшаяся покорной жертвой варвара или жертвой стесняющейся и добровольной, всходящей на чуткие, торжественные ступени к угрюмым иерофантам, под нож к стопам нелюдимого Зевеса... Венцовский дрожал, чувственно раздувая ноздри: он пыталась угадать выбор д'Акеларра, по манипуляциям которого эти волшебницы-примаверы слетелись сюда в раковинах из облаков лебяжьего пуха, запряженных голубями или драконами. Наградой станет знаменитая Кровь Крестоносца: принц уколет палец золотой булавкой и выдавит каплю крови в бокал шампанского новой Даме!

Неожиданно Теодор Свенцовский указал, с какой-то наглой надеждой в отчаянии, на столик, за которым сидели с добродушными, расслабленными улыбками трое некрасивых женщин, вяло бросая карты и растапливая

сахар над рюмками абсента. Он смотрел на одну из них; Валье приглядывался к широко расставленным светлым глазам навыкате с маслянистыми белками, светлым прядям с пробивающейся проседью, к мятным бледным узким губам над резко закругленным подбородком, с тонкой kostочкой птичьего носа. Груди у нее висели низко и почти по бокам туловища, какое-то грудное косоглазие; бедра — чрезмерно широки — принимали своею чашей полноватый торс так, что он ладно вмешался в них, как в ладони.

— Кто это, что за царица трибад?

— Энриэтт, моя соотечественница, соотчница. Не-приглядна с четырех шагов и непобедна — с двух. У ней шелковиста кожа и волос, как пух или кошечья шерстка. Такое вымя и задница...

— Свенцовский, заткнитесь, — поморщился Валье. Он не терпел восхищенных мужских пересуд.

В который раз заиграли «Голоса весны». И тут-то Валье увидел нечто, достойное изумления и ужаса: по лицу Энриэтт, полуобнятой д'Акеларром, ползли белые черви. Само лицо было подернуто прозеленью и испещрилось черными провалами. Глаза плавали в желтом гное глазниц. У принца изо рта свисал мох. Потом пропало. Но через мгновенье он обозрел маленький широкобедрый скелет Пираньи, кружащийся в нескольких шагах от принца в его безукоризненном фраке, заляпанном лишайниками; одежда и плоть висели смесившимися клочками на ее костях. И потом снова пары показались ему прежними, изящными и оживленными, словно на балу во дворце его родственников. Томная графиня Вани на миг показала ему совершенно изуродованный тлением профиль, но затем он заместился другим профилем, с несколько нездровом румянцем на бледно-смуглой щеке; вздорную и бодрую Николетт с абрикосовыми щечками прижало к себе чудовище с пятиглазой головой носорога, а потом обернулось трогательно жизнерадостным, смешным старичком, зато у самой Николетт опустели глазные отверстия

в черепе. И Алели, лилея ренессансного Благовещения, поднимала мертвеннную клешню, принимая лапу фавна... Григорий выбежал из зала.

В Берголи мысль о странной встрече на балу с маской фавна будоражила Габалова, ноздри почти сладострастно вздымались. Чтобы обдумать происшедшее, надо было отвлечься на несколько минут; он наугад раскрыл Метастазио: «*Nelle nubi intorno al fato a mortali non e dato con lo squardo penetrar...*» — «К Судьбе, окруженной облаками, не дано смертным проникать взглядом». Строчки эти испугали Григория совпадением. Он, может быть, подсмотрел нечто, «окруженное облаками», роковое. Подошел к пейзажу с нимфами и сатиром. Погладил маслянную круглогую голову под сухим лаком. Обернулся к окну.

Двор был пуст, чехлы с бечевок исчезли. Мощенный обточенными, как морем, камнями двор томно цепенел на лунном свету, словно кошка у жаркого камина. Ни из одного дома сюда не выходили двери, только из Берголи. Он вернулся к этажерке и при трепете тающей свечи различил корешки и средь них один, английский: «Половые ритуалы Средиземноморья».

В пакете из Москвы были русские журналы, средь них пахучий «Золотой паук». Тут он пролистал какую-то гинекологическую повесть бывшей нигилистки, писавшей под псевдонимом Нарра Колибри, «Потерянный лиф королевы. Стародавняя повесть», какая-то ерунда из какого-то столетия, с великолепным зачином «Отошли весенние воды...»; просмотрел стихотворение «Пустынник» некоего Ник.-Андра, почему-то подписанное «Ода» и отдававшее Каролиной Павловой, зачитался несколькими прозаическими миниатюрами — модными после Тургенева и статьи Мережковского «стихотворениями в прозе», хоть и смущился подписью: «Вильгельм Ф. Грядый», напоминавшей о литературном недотепе Кюхельбекере, а потом обнаружил великолепный рассказ современного испанца о полуразрушенном бискайском замке и темных местных преданиях...

Он представлял себе себя, как хорошо расположенную, стройную, ладную фигурку на шахматной доске — не ферзя, конечно, но слона или даже ладью. Он знал себя великолепно, он был вскормлен, как ему казалось, восьмью частью «Анны Карениной», где было разъяснено, что за любовь к близким такая и как далека она отвлеченной жалости ко всякому бедному, страдающему брату за тысячу миль от тебя или тысячу лет. Он знал, что толкотня мелко живущих людышек только раздражает его — до гнева, и когда он превращается в шагающего истукана из жгучего льда ярости, в этой голове, как стеклянной, складывались лучшие афоризмы. И неужто он будет пресмыкаться мыслью перед о. Берендеевым из Общества религиозного вольномыслия, Наррой Колибри и Фитой Грядым, пред протозоями и мегазоями из борделя в опустошенном складе? Или нечто в нем само так доискивается недужной скуки этих людей... Он насвистывал «Хабанеру» Бизе.

Вошел человек в черной рясе и в черном капюшоне на обритой голове; ткань была нежна, тонка, но непроницаема. Затененное серовато-меловое лицо без бровей, худое и скуластое, вроде лица юношебразной немолодой женщины, проваливалось меж грязно-белесых губ темным, пещерным ртом, словно набитым землей. Глаза, очень бледного цвета пасмурных, но не ливневых облаков смотрели, как слепые, блуждая из стороны в сторону встревоженно и скользко, не удерживаясь ни на чем и ни на ком.

— Я не притязал бы лòбзать пол у ног наперсника нашего Кардинала, если б не мог искупить свое ничтожество милостью ко мне монахолюбивых сановников церкви, — тихо мурлыкал, мерным, скрипящим в гортани голосом, инок, медленно приближаясь к Валье; он говорил по-русски с польским акцентом, ставя ударение почти всегда на второй слог от конца.

— За что Вы удостоены милости, друг мой? — великолушно поднял черный безликий комок с мраморного узорчатого пола Валье.

— Я сирота, вскормлённый в монастыре, — заговорил брат Уртубий так, что казалось, он чревовещатель: бескровные губы двигались, но звук исходил не из них, а оттуда-то из бездн, заточенных в решетку его ребер, приглушенный, отдаленный, дальний. На рясе Валье заметил крохотные, вышитые золотою нитью черепа. — Постничеством и столпом изнуриял уязвляющему грехами плоть, ушел в пещеры, далёко, в Кроатии, десять лет пролёжал в могиле, выкопанной средь костей старинных гонимых христиан, десять лет не видел солнца, — он медленно перечислял, потупившись, но в мерцающем голосе было и скептическое, брезгливо-печальное презрение к миру вместе со всеми Кардиналами и наперсниками, словно своим десятилетием тьмы он надсмеялся над холодным огненным диском и попрал его, было и сладострастие старой, всё изведавшей блудницы, не знающей лишь одной тайны: что она уже не сладка, — или знающей даже это. — Я снёдал пригоршню зерен в день, запивая их затхлой водой. И Кардинал, тайный секретарь его святейшества, трижды пресветлого понтифика, пржизвал меня.

— Призвал, чтобы послать ко мне?

— Да... Я пришел помочь вам, господин Габалов.

— Чем вы можете мне помочь?

— Во-первых, деньгами. В неком кругу весьма воодушевленно оценено убийство генерала Кикина. Сам господин доктор Гонорий Кавзицкий...

— Не я же убил, — усмехнулся Габалов.

— Как же не вы, если вы?

— Кто стрелял, тот и убил. Мне деньги еврейских банкиров не нужны.

— О, то не те деньги. Мы знаем о Вашем замысле, вы, князь священной монархомахии! — усмехнулся монах.

— Я никакой не князь, это «принчище» князь, и вы какой-то провокатор, вот вы кто. А пес этот свинячий, Свенцовский, и, кстати, те из комитетчиков, которые ему доверяют, очень даже попались на глупые рассказни этой

истерической дамочки, та еще Кёлибри, и теперь смотрите, с вашим понтификом, который и знать о вас всех не знает, что получается: наших-то, которые в боевом, попросту зашухерили, как я вижу... — заговорил, тараторя, Валье, хоть и заметил, на одном из особенно злобно выговоренных слов, что в комнате никого нет, а в руке у него старый черный чулок синьоры Гариты, используемый, как тряпка.

Сидя на следующий день в аквариумоподобной кафетерии на Сан-Марко и поглядывая на гулянье пресловутых копошащихся голубей, Валье быстро писал в блокноте: «Венецианские призраки населили дома и площади, куда я ни попадаю. Загадочные Доломеи, маска фавна, старая фреска, монах — это звенья пикантного романтического приключения, какие случаются только в бульварных романах. Я словно в кукольном театре и не вижу марионеточника за ширмами. Я словно актер на сцене, где исполняется пьеса, содержания которой он не знает. Или: наши сны видят некто в нас, отличающийся от дневного «я», и этот некто намного старше, чем «я», и сон длиннее «меня». Однако наши итальянские друзья вполне могут иначе, нежели мы, представлять себе конспиративную работу...». За соседним столиком сидел господин с вытянутым морщинистым лицом в мягким, как фланель, коричнево-зеленом клетчатом костюме. Валье заметил его толком лишь тогда, когда он поднялся на жердевые, тощие ноги, оставив горстку монет на столике. Рядом с горсткой лежала книга.

Валье схватил ее и хотел было догнать посетителя в клетчатых брюках на высоких тощих ногах и таком же пиджаке, но замер, прочитав английский заголовок: «Полное описание Венеции». Он сел опять в свое бамбуковое кресло.

Здесь, в кафетерии, он отыскал, листая «Описание Венеции», главку, посвященную дворцу Берголи. «В этом сумрачном маленьком палаццо, несколько утомившись торжественными церемониями Светлейшей Республики, прятался от свиты и сенаторов новый король фран-

цузский Генрих III де Валуа, покинувший Польшу, интриги ее вельмож и тамошнюю свою славянскую корону; он остановился в Венеции на пути в Париж, где недавно умер его старший брат Карл — тиран Варфоломеевской ночи — и где его ожидала любящая мать, вдовствующая королева Екатерина из дома Медичи. Наполовину итальянец, Генрих не нуждался в спутниках-переводчиках. Еще до торжественной встрече на Лидо с дожем Мочениго, он сменил желто-голубой наряд на излюбленный испанский черный с золотом и, втайне путешествуя по каналам великого города, посетил нескольких куртизанок в обители Берголи, подготовленной его негласным чичероне, молодым Джан-Доломео Доломеи, которого нанял для разных услуг королю один из родственников Валуа. Впоследствии о Берголи складывались легенды, вплоть от утверждений, что в его подвале для короля отслужили черную мессу. К сожалению, от убранства шестнадцатого века сохранилась лишь роспись потолка. Возможно, она принадлежит кисти талантливого живописца из мастерской Веронезе. Облагодетельствованный Генрихом Доломеи стал родоначальником богатой семьи, обставлявшей Берголи в соответствии с новыми аристократическим вкусами, что и стало причиной исчезновения обстановки времен Тициана». Габалов вспомнил какие-то косо склевавшиеся образы — плотные бархатные воротники, в которые затягивалась обернутая белыми кружевами мягкая лоснящаяся шея, огромные колье из крупных камней на груди у мужчин, сверкавшие пудовыми бриллиантами в огнях зловонных факелов и свечей, жемчужные нитки, шелковые плетки и погребальный черный, пурпурный, фиолетовый и алый бархат, вышитый золотыми и серебряными черепами, лесные блудодейные шабаши, на которые приезжали придворные после молитв и балетов с королем-содомитом, каплевидные перлы с голубиное яйцо, покачивающиеся на кольцах в ушах, подосланные полуумные убийцы с кинжалами и перстни с отравлен-

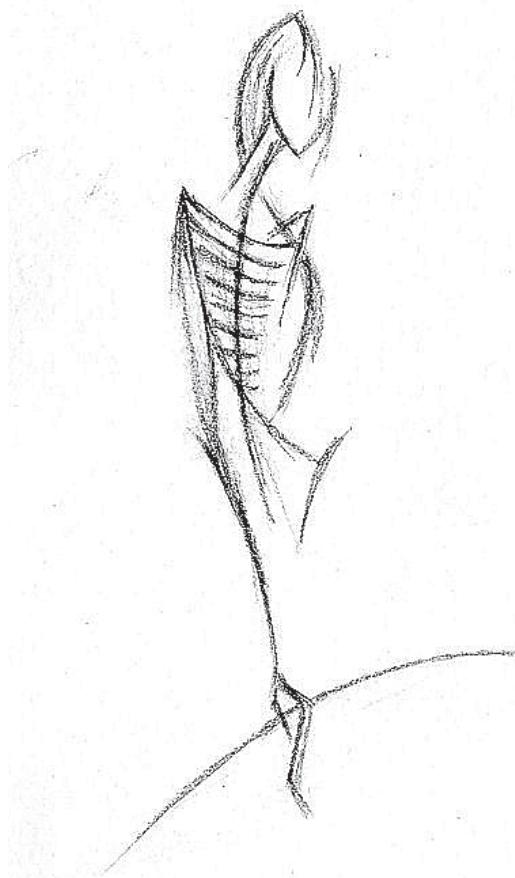
ными шипами, маленькие острые бородки, крашенные в смоль, непристойные стихи царедворцев и кощунственные остроты курии, передававшиеся среди муранских бокалов, многоцветных, рубиновых и невидимых, с белой сканью, и восковых фруктов для розыгрышей.

Дома он открыл шкатулку с малиновыми камнями Прозерпины, но она была пуста. «Это намек, всего лишь намек, на двойное дно», — подумал он и отправился в подвал под куриным двором. Там сорвал заросли паутины и лохмотьев со стены и увидел, в чагах рельефа, молодое ангельски-отточенное лицо, бесполое, во вкусе раннего Ренессанса, а под ним гроздь грудей с торчащими сосцами, спускавшуюся, по три груди в ряд, к паху, где мелкие завитки окаймляли три направленных в разные стороны вздернутых кверху фаллоса с набухшими венами. «Так... поменьше упиваться кофе с абсентом и теплыми сливками с коньяком...», — только и подумал вдруг поглутивший революционер-анархист. Ему представилось, что и черный монах, и меланхолия гондол, поджидающих переодетого короля, и нынешнее открытие — только наваждение полыни, галлюцинация. «Надо бы поговорить со Свенцовским, все-таки химик», — подумал Григорий Иванович и убежал из подвала.

В клинике Сан-Алессио Григорий Иванович Габалов считался абсентоманом. Кроме того, он упомянул, что не раз курил гашиш, а в московских ресторанах участвовал в кутежах, которые, при несколько забавных представлениях о сибирских варварах, казались какими-то пирами Нероновыми или Иоанна Грозного. Доктор Лауренциус (Григорию Ивановичу определили врача-немца, так как немецкий язык этот помешанный знал хорошо) записывал: «Пациент отличается жестким характером, он эрудит и мастер слова как литератор, несомненно, за ним нужно признать остроту ума. Он внушил себе, что его беседы с несколькими революционерами были, с его стороны, изощренно-ловким подстрекательством к убийству видного

российского государственного деятеля, генерала К., однако из его слов об этом явствует, что его собственная роль в так называемом Комитете ничтожна. Он твердо уверен, что находящийся сейчас в Венеции принц Этельруд д'Акеларр (принадлежащий, по его увереньям, к дому Валуа, хоть это и не так) для того, чтобы развлечься, устроил розыгрыш: в особняке Берголи была повешена картина с пририсованной в манере старинного художника головой фавна и спрятан в подвале омерзительный двуполый непристойный идол (в Берголи нет подвала), на балу, куда его пригласили, появился человек в маске фавна, точно воспроизведившей рисунок на картине, а некий англичанин в кафетерии подсунул ему, под видом забывчивости, книгу о древних оргиастических культурах и средневековых шабашах. Его хотят разыграть, ему хотят внушить, что он одержим дьяволом. При этом он смеется и критикует собственный бред, говоря, что по невежеству на картине семнадцатого века была выписана голова фавна во вкусе шестнадцатого и, видимо, весь «дьялов водевиль» плохо продуман. Несомненно, его должно это беспокоить, и вскоре, боюсь, «водевиль» окажется продуманным лучше. Он не чувствует раскаяния в мнимом подстрекательстве (он сказал: «гадина пожрала гадину»), однако мы, очевидно, тут видим пример Beachtung-Beobachtungswahn, начало которого — признание мнимой вины, а развитие — многочисленные галлюцинации. Поляк С., знакомый с книгами Ломброзо и Блейера, сразу посоветовал ему отдохнуть тут, в Сан-Алессио, так как налицо симптоматика паранойи».

Старик Иван Андреевич Габалов забыл о ссорах с сыном и терзал Лауренциуса письмами и телеграммами. Он сулил доктору сто тысяч рублей за исцеление Григория.



Марианна Гейде

* * *

…подавали им пищу небольшими кусками, глядели,
как стекает она по стеклянному горлу, будто
пробегает ласка или куница,
как желудок сжимается, выделяя
желтоватую щелочь.

Их хрусталик о двух гранях:
одна для земли, другая
для того, что они называют водой, их жабры
спрятаны за ушами,
хвост — сцепление подвижных звеньев, в его
кончике спрятаны железы, производящие жидкость,
способную вызвать столбняк, дрожь пробирает
при мысли о том, что когда-нибудь после

такие наследуют землю,
покамест их держат в особом садке, наблюдая
за жизненным циклом, они, говорят,
живут триста лет или дольше,
затем исчезают, затем возникают
 заново,

но странно не это, а то, что в то время,
как мы наблюдаем за ними, они
наблюдают за нами.

Мы болеем, стареем, изнашиваемся, сдаем
полномочья потомкам, а жуткие твари всё те же,
страшно представить,

чего они успели насмотреться за это время,
похоже

они уже всё про нас поняли, это ужасно, ведь мы еще сами
не всё про нас поняли, мы
верили будто бы мы не пустая забава природы,
лишенная тайны и смысла...

...гнусные твари, рождающиеся из песка.

* * *

Камень,
затерянный в недрах пустыни,
умеет себя рассказать
своим срезом, камень
тяжел и прочен,
не так, как некое слово,
пустое трясение звуков,
но так, как умеет лишь камень:
тронь его и раскаленная твердь
сообщает намеренья солнца и то,
что хранит его толща.

Камень, брошенный вслед
тени, сбегающей с мягких горбов уходящих барханов,
есть, его тяжесть доступна ладони, его
прочность ничто,
он лежит, подставляя бока заходящему солнцу, ему
непонятно движенье растений, в его чертеже
содержатся планы пустот, по его
ущельям ползут
змеи, изнуренные тысячелетним умом,

им не выбраться.

Ветер, вздымая пески, отражает движенья
наших тел и машин, он куражится, кажет, что было и нет,
он ветер, его
направляет безумная ткань
событий, он есть
и в его торжестве
ликует неистовый хохот,
незнамый, неведомый, громкий, как стая
разгневанных птиц,
расклюющих на части угрюмую нежную плоть человека,
несомых далеким неслышимым зовом,
обещанным даром,
чтопущен по ветру.

СОМНАМБУЛИЧЕСКОЕ

В давнем сне явилась мне женщина с лицом,
не старым, но древним,
глаза ее, цвета нехитрых золотых украшений,
что находят при раскопках,
имели зрачки, черные и плоские,
и как будто бы вовсе не отражали свет.

На ней были пестрые цыганские одежды,
узор на которых я не мог разобрать,
она ввела меня в комнату, где было много людей,
которых я не знал, но как будто бы знал,
они толпились вокруг стола,
на котором возлежала крольчиха,
из сосцов ее текла розоватая творожистая жидкость,
люди подходили и приникали ртами к сосцам крольчихи,
и вкушали эту жидкость,

она сказала мне: «можешь пить, если хочешь».
Но жидкость эта внушала мне чувство отвращения.
Я поблагодарил, и сказал: «нет, я не хочу этого».
Тогда она подвела меня к другому, более низкому столу,

на нем стояли синие фигурки,
выполненные из чего-то вроде фаянса,
они были похожи на детей или ангелов, из тех,
что на хорватских кладбищах ставят поверх надгробий,
она сказала мне: «бери, если хочешь».
Но я поблагодарил и сказал: «нет».
Она спросила: «не нравится?».
Я ответил, что нет.

Тогда она привела меня в комнату,
где на кровати лежала маленькая черная книжечка,
я взял ее в руки, страницы были полупрозрачные,
и покрыты прожилками,
как листья давно высохшего растения,
очертания букв менялись, так что каждое слово
в тот момент,
когда зрение касалось его, превращалось в другое слово,
деревянные крышки из легкого дерева,
служившие переплетом, были гладкими и скользкими,
покрытые черным лаком. В этот момент
я вдруг вспомнил, что видел это в одном давнем сне,
всё точь-в-точь, и женщину, и крольчицу, и книжицу.
Я сказал женщине с древним лицом:
«я не верю ни во что, но как странно...»
и она тотчас закивала, потому что знала,

что я скажу дальше.
Она сказала: тебе нравится это? возьми. Это водосборник.
Странное слово, но, далистив до конца, я увидел,
что книжица наполовину была шкатулкой,
в которой лежали стеклянные тонкие

вытянутые пузырьки
с медными крышечками, наполненные
жидкостью цвета березового сока,
они были живыми и переговаривались тонкими
звенящими голосами.

Случайно я накренил шкатулку, так что

пузырьки перемещались,
из горлышек полилась золотистая жидкость,
в ужасе они закричали: «мы проливаемся!
мы проливаемся!».

Не зная, что делать,
я начал хватать ртом льющуюся на пол жидкость,
не зная толком, опасна ли она, или нет,
пока не выпил ее всю.

Тогда женщина с древним лицом подвела меня к зеркалу,
и в отражении напротив своего лица я увидел ее лицо,
а напротив ее лица свое,
она сказала мне: «ты — это я».

И внезапно черты наши стали меняться,
переходя из одного в другое,
так что в какой-то момент оба лица представляли собой
нечто смешанное,
лишенное определенных очертаний,
а потом на месте моего лица оказалось мое
и ее на месте ее лица.

Потом я проснулся и понял, что буду жить,
что болезнь, терзавшая меня, отступила
и больше не вернется

ЛИШЬ СОН ЖИВЫХ ДАЕТ ГОЛОС МЕРТВЫМ

Сын говорит:

«Я горю,
не видишь?»

(отец, утомленный горем,
сник и уснул,
старик,
оставленный у мертвого тела
сторожем,
тоже
уснул)

«Я горю, не видишь?»

(сын уснул насовсем
и охвачен огнем
от случайно
упавшей свечи)

«Я горю, не видишь?»

(речь мертвых возможна лишь в то время, когда спят живые. Когда отца нет (он спит), сын может говорить с отцом. Когда отец есть (он пробудился), он не может говорить с мертвым сыном иначе, как на языке, на котором говорят о мертвых. Но и сон старика, благодаря которому упала свеча, звук падения которой вызвал к жизни это видение, был необходимым для того, чтобы мертвый сын мог обратиться к спящему отцу. Лишь сон живых дает голос мертвым.)

* * *

В безбрежном, обезображенном
так ли перемежаются лики, бликуя
на раздраженной ветром поверхности,
как из недр вырывается магма.

Вот горы заплясали, как овцы, и холмы как агнцы,
ахнули наши жилища и рухнули,
огненная, поползла из разлома шипучая лава
и наши тела впечатала в камень, и запечатлела
наши дела: вот руку занес и замер,
те у ограды ворковали,
вот юла покатила.

Тут небо задернуто плотным облаком, каверзной взвесью,
ни один не спасется
из летающих, ни один не поспорит:
небо, отягощенное пеплом, лета не выдаст.

Подаст ли нам тогда кто-нибудь, кроме него.

* * *

Тьма — холодный ловец,
пробегает по венам,
сдавив дыханье,
ищет себе пропитанья
по тропам сбегая ветвистым.
Со свистом
вдруг
оно выпрашиваеться
из сжатого горла,
ликуя и лая,
легкие белки текут по ветвям, их тонкие когти
нежную ранят кору, легкую кару творят,
створки клеток распахнуты, вот побежали
по трубкам и трубам,

и трубочкам малым,
и жалят железные змейки,
как древнего бога засланцы,
как вестники древней весны,
что, от сна пробудившись зевает
и кажется раздетый язык.

Каждый звук пробегает по тканям
и, в звук ударяясь,
рисует кольцо за кольцом,
расходясь из костей, как из тонких и ломких свирелей.
Как оно корчится, бледное небо, как молний
ток его мнет и ломает, как ребра
сводов его содрогает
звук, извлеченный из труб проржавевших
движеньем ветхих мехов, как брызжет
слюна из ключей подъязычных,
чтоб горло сухое смочить.

Зверь, от зимы пробуждаясь, пробует голос,
узкую морду к небу задрав, а из неба
мелкая мелет вода, и смеется,
и в лед почерневший стучит.

* * *

Сердце — рана отверстая. Капля за каплей
текает соленая влага по ребрам, бедрам, лодыжкам,
приходят собаки и лижут, язык их как шкурка шершав.
Две тысячи лет это длится и мертвое тело
обрело шелковистость и гладкость прохладного камня.
В темноте, говорят, оно ходит и светится,

может быть лгут.

Но ложь — лишь увертка
для сокрытия лжи наихудшей:

не о том, что во тьме оно ходит
и светится,

а о том, в чем любой предпочтет обмануться.
Ведь его трата была напрасна.
Его жертва была бессмысленна.
Его смерть никого ни от чего не спасла.



Аркадий Драгомощенко

ПАРИЖ СТОИТ МУХИ

(выставка фотографии Б. Смелова в эрмитаже. Выставка в борее — весна 2009 и другие, потом)

В Amsterdam'е происходит второй, докучливый поворот винта. Помимо турбулентных зон и надежд на бокал вина существуют аэропортовские отхожие места. Там, невзирая на гендерные различия, размещаются писсуары. История создания подобного урьльника не является магистральной для следующего повествования, однако в некоторой мере дает возможность очертить территорию, которую Мишель Серр в основном своем труде о Гермесе назвал «между», и где, по его мнению, действительно обретаются ангелы. Всем известный урьльник исключен из рядов зрелищных искусств и существует для счастья иллюстрации огромной купюры на стене, где никого нет и немая латинская Р* «в конце» служит сомнительным утешением русскому языку.

* Имеется в виду последняя согласная в имени Duchamp. Однако, на самом деле, автором идеи проекта известного Фонтана, судя по письму Дюшана, в котором упоминается о том, что его подруга прислала ему писсуар, была королева дада в Нью-Йорке 20-х прошлого столетия баронесса Эльза

Не уверен, что исключительно для восхищения моих глаз был кем-то создан писсуар амстердамского аэропорта, где в нескончаемо-терпеливый фаянс вписана (весьма пропорционально в манере Зевксиса) муха. Печень Прометая.

Глава называется не *Tromp l'oeil*, но *fly on the wall*. Это про желание быть, но не быть среди всех, известное русское желание *шапки невидимки*, на дне которой ты из копейки в мгновение ока превращаешься в сгусток нематериальной субстанции, понимая, что теряя очертания, телесность, исчисляемость, а следовательно предметность винтажных умозаключений, попадаешь *between*. Можно было бы продолжить, что это «о любви». Но понимаю вполне, ни муха, ни Гоголь здесь не свидетели.

Мерло-Понти в своей единственной доступной (по времени постижения моего собственного чтения) работе *La prose du monde* говорит, что музей позволяет увидеть стили (но скажи, друг мой — разве аэропорт не музей?!), однако при этом придает их подлинной ценности ложную значимость, отрывая от случайности, в гуще которой они родились. Вот эту самую «гущу», читатель, я бы «перевел» по-другому. Но суть не в ней, а в еще и еще нескончаемом напылении случайностей на то, что лишь смутно появляется в сознании. В какой-то момент они образуют вполне вразумительную структуру, наподобие морозных узоров на стекле, где каждый волен видеть много гитик или водить по ним пальцем, обретая некое распыление ума между «пальцем» (собственной телесностью), «стеклом» (отстоящей материальностью) и, образованной соприкосновением пальца со стеклом в аллювиях мороза, проталины, промоины, полыни. Что позволяет думать о

фон Фрейтаг Лорингховен (Baroness Elsa von Freytag-Loringhoven) — поэтесса, скульптор, художник, модель Марселя Дюшана. (См. Gammel, Irene: Baroness Elsa. Gender, Dada and Everyday Modernity. A cultural Biography. MIT Press. 2002).

выставках, — одну из назовем случайным собранием «неакадемических» работ Б. Смелова, — как о раскрытой ладони, протянутой специалистам по гипсу и фаянсу.

Именно случайность (но никоим образом не как бы бибихинские со-лучия). Если математически уронить стакан на юбку сидящей рядом или тотчас двинуть локтем в баснословно дорогие очки соседу справа, либо, например, познакомиться с petit Boris'ом, а по-нашему Пти-Борисом, попадая в историю каких-то родоплеменных отношений, где возникают стада, *petit a*, горы, наконец, Grand Boris и Zoom, если... Остановись, ибо здесь уже долина Дагестана им. лермонтовской *петли*. Правильно, я и задумался о случайностях, не принимающих никакой формы в своих даже очевидно наследуемых последовательностях.

Не удивительно, что его жизнь оказалось совершен-но простым доказательством того, что *вроде* как знаем и знание чего *вроде* не покидает ни на секунду. Это как если раскрыть любую книгу на любой странице или стать не-грамотным навсегда и сначала.

Однако тут возможен разговор о тех, кто видит, как если бы мордой в торт, и о других, для которых зрение есть некий стекловолоконный кабель, по которому струится то, что «тортом для других и сразу», но при том в этом же струении принимая все возможные «шумы» (притоки, втекания) и чуть-чуть запаздывая — это и есть основание фотографии. И ее философии.

Вообще. Иными словами, другое устройство конституирования времени в машине, которая пьет вино, часто не чистит зубы, восхищается Руо, к примеру, или поступающими часами Буре.

Важен в оговариваемом случае не предмет, отвечающий предмету, но это самое пропадание «чего-то» в процессе течения... Задолго до того как написать про свою маму (но много спустя после того, как Борис Смелов снял свою маму, неосызаемо сдвинув портрет с серебренной матрицы Жан Луи Сьеффа), Ролан Барт — не могу найти, где

же? На какой полке... — написал статью об одной кинограмме Эйзенштейна из «Ивана Грозного». Это очень важная статья, в которой Барт говорил, что осыпание царя золотом — известный фокус, и думать тут особо не о чем.

Но, писал Барт (быть может, я ошибаюсь...), волнует другое — то, что является возможным для рассмотрения путем сужения зрачка, а именно: почти размытое одутловатое, мучнистое лицо какого-то, по-видимому, «опричника» на стосорокдесятлом плане. Это и есть центр действия и рождения возможности истины даже в картинке, которая, как известно, имеет к ней весьма далекое отношение, пусть она изображает даже муху в клюве птицы в начале этих замечаний.

Надо полагать, Барт напал на следы оплошности помрежа картины, нашей предвзятости или очередной халтуры памяти, поскольку взгляд останавливается не в «мимо», — но в том, что *это, то, что всегда не про это*, и есть центр, который смешен настолько, насколько может сместиться слово «галактика» при каком-нибудь случайному выражении, подобно «я люблю тебя» или «гильотина».

Выражение не стоит ломаного гроша. Оно бесценно. Между листами Бориса Смелова на стенах и его каждодневным едва ли не шутовским бытием в россказнях, пролегает это великое тавтологическое «между», — между Элизием, где возможно встретить приветную тень на тризне с милыми гробами и плохо исполненным оттиском глаз в пейзаже. Конечно, выставка «случайностей», портретов, лиц, — поди докажи, что мое лицо не случайность в его контрпространстве. Вот такая фундаментально неустранимая вещь, словно позвоночник — а то бы все так и летали — собственной амбивалентности, двойственности, где прекрасное рождается из басен про петербург и майнрида, а все остальное есть воздух, которым дышишь, поскольку человек, который не дышит — не может не дышать, не снимать фотографии.

Даже в придуманном им самим Элизиуме. Там, среди того, что тля не тлит. Где ни сумасшедшего дома го-

сударства, ни поребриков для русых голов (в житейском плане на переходе), где даже нашей грязи нет веры ни на пядь, как нет веры нашей вере и крови.

Когда я жил на Деревянной в 1973, я написал ему следующие строки. Странное было лето. Я был вне тела, весил 69 кг, был нищ, влюблен, а он, как и Курехин, всегда находил слабое место, чтобы оказаться рядом. Тополиный пух горел всюду, даже на воде. Мы искали крыши, откуда «будет видно все сразу».

чашу спокойной пыли
выпить на крыше
прошуршит птица по склону
перо дыма качнется вправо
из рук выпадут два стекла
соединенные стальным ободком
и одно за другим
разойдутся на части
в глубине узкой как звук

счастье на крыше испить
меру полуденной пыли и
глядя вниз
вслед за звоном
отметить мгновение
когда два стекла
лягут на плиты
два раздробленных кристалла —

так тает стекло
так наступает полдень на крыше
в соседстве с блуждающей синевой

(1973)

Апрель, 12, 2009 — Hotel Chatillon, Paris

Дина Иванова

...

что́ внутри у нее кроме стекол
кромки стекла
в море осколков и лепестков
сóли сóли кристаллов
?

на изнанке зрачка
(что́ внутри у нее кроме стекол
? камни)
точка точка тире

...

мне с детства казалось:
я выйду замуж пятнадцать раз
за пятнадцать мужчин из рода
(не хуже чем) Пáнду;
и что: замужество это время и все —
от и до

и что́ было дальше
и что́ всегда было дальше?
и время время текло сквозь меня

.

стихи о моем спасении

умирать — это автоматически:
просто смотреть *рукой* —
под рукой — коллапсирует сердце:
*we've got a power**
(что подкупает)

кто вскрывает мне сердце
и открывает машинерии страсти —
о! сколько его:

или в скольких я —
? неисчислимых его объятиях
вспоминая:

отвечай «я хочу Тебя» все равно отвечай только «я хочу
Тебя —

тот с чьих пальцев
не иссякая стекает кровь моя до тех пор
неисчислимая

я хочу Тебя
это — танец»

.

* песенка kmfdm

track — clock DVA: velvet realm

потому что
могильные крестики на ногах
неотличимы от сетки чулок
началась война я пришла к тебе это надо петь

это velvet realm я пришла к тебе это надо петь

здесь красивые трупы
и здесь останусь

я нужна им я вижу нужна им

как сумма актов
в частном искусства:

ад анаграмма
пароним к саду
синоним к нашему саду

и просто ад
там где ад это просто

но я останусь

...
боже виновных! я жду того, чья — одна — ладонь окружит мою талию.

пусть он умрет (ведь так
тоже нужно?)
но пусть — не раньше

...

пусть он *може* умрет
и когда они принесут его труп
прекрасный
в прекрасных ранах

я — лягу рядом. в траву.
но кто плачет о мертвых?
никто — не в праве

...

на его волосах
(чернее чем эта смерть)
будто
не будет
крови

paranoid inlay

святость препятствует
мне близ небесного предела
в намерении прикоснуться
к болезненным красотам
Преисподней

святость препятствует
святость препятствует

стоит только встать в одном из дзотов
расцвеченнай Им
параноидальной мозаики
(под номером пытки)

святость препятствует

святость препятствует
стоит только столкнуться
с кровавым имперским транспортом
в садах под суициальными
плодами олив

это мое мое

dear Diary мне надо проверить
все эти смерти (не умерев) мне не надо
испытывать

что́ мне надо
чтобы покончить с этим?

кристаллические ступени
светящиеся вещи
шары в хрустale которых

я буду вечно видеть
устрицу Преисподней



Марианна Гейде

* * *

Говорит: «я стал забывать слова». При этом делает рукой слабый хватательный жест, как будто слова шныряют где-то в ладони от его носа, верткие, и, будь движения пальцев чуть проворней, ему удалось бы их схватить. Осталось всего несколько десятков, ручные, полусонные, готовые вместить в себя любой смысл, который он старается им придать. Говорит медленно и отчетливо, точно каждое из уцелевших слов обладает полновесностью и вкусом, которых человеку с нормальным, беглым, скользящим, насмешливым языком никогда не суждено расprobовать: тот заглатывает не разжевывая и не вдумываясь, слова, как роскошная пища, набегают со всех сторон, обогащенные иноземными, причудливо звучащими корешками. Но это последнее пиршество человека, медленно, одно за другим, утрачивающего имена, поистине, выглядит мрачным празднеством, кровожадной литургией. Имен осталось всего несколько: так, каждая женщина будет носить имя Лина, а каждый ребенок будет Митенька. Они, имена эти, выпавшие, точно бочонки для

игры в лото и случайно застрявшие, отменно обслуживаю владельца исчезающе малого количества слов, так что кажется, что лучше и быть не может. Меня он называет: «странное лицо, где-то я вас видел». Длинное, неуклюжее имя, подходящее мне наилучшим образом. Только одна вещь, которую он постоянно держит в левой руке, пока правая ловит непокорные ускользающие слова, не нуждается в имени и, кажется, представляет самостоятельную ценность: хрустальная граненая пуговица, в которой, если приглядеться, можно увидеть всякую всячину. С пуговицей этой он никогда не расстается, когда возникает нужда в помощи обеих рук, то осторожно кладет ее в рот, так что она торчит из-за щеки, как леденец, тогда он напоминает ребенка, довольною своей хитростью. Напугай его в этот момент — и он, быть может, проглотит язык, но не пуговицу. Ему уже очень много лет, вероятно, думаю я каждый раз, поднимаясь по лестнице, он уже умер — но он продолжает жить, теряя слово за словом, точно камешки, по которым его немногочисленные потомки смогут проследить его путь. Сегодня он потерял еще одно. Я усердливо подбираю его и кладу на столик рядом со стаканом мутного чая. Может, оно еще прослужит некоторое время.

ДЕВУШКИ-КУКЛЫ

Девушки-куклы в жестких топорщащихся юбках с приспиленными цветами и искусственными насекомыми. Казалось, их можно приобрести за очень большие деньги, и эта воображаемая продажность странным образом возносила их, переставляя в иерархии существ на самую верхнюю полку, где хранятся культовые предметы. Им, должно быть, запрещено множество вещей, какие разрешены любой канарейке. Быстро бегать (потому что там внутри у них специальное устройство вроде маятника, и если бежать слишком быстро, то оно раскачается так

сильно, что расколет их изнутри), глупо хихикать (глупость всё испортит. Ни одна вещь не глупа, даже и животное становится глупым только под пагубным влиянием воспитавшего его человека), серьезно интересоваться чем бы то ни было (никакая страсть вещам не пристала, они существуют, с одной стороны, благодаря силе притяжения, и это тянет их вниз, с другой же благодаря amor dei intellectualis, которая влечет их вверх, так что они всегда вытянуты в струнку и движутся строго перпендикулярно плоскости). Вещественность их почти разноплановая, невесомая, да и сами вещи ведь не более, чем призраки, во всяком случае, для того, кто на них смотрит. Нутро вещей молчаливо и угрюмо, трудно сказать, мрак там, или, быть может, бьет луч света и показывают какое-нибудь кино, которое мы никогда не увидим. Они могли бы нам рассказать, но лучше бы они промолчали. Это было бы чудовищно, если бы вещи вдруг заговорили, если бы они внезапно оказались свидетелями, а не просто вещественными доказательствами. Тогда бы мы внезапно оказались в их власти, сделались бы частью ландшафта, сплющились до состояния сухого крыльышка, оставленного в книге в качестве закладки, и какой-нибудь случайный обрывок предложения послужил бы нам эпитафией. Потому они внушают легкий ужас, почти неощущимый, сходный с действием анестезии: страх перед болью ничто перед страхом утраты способности хоть что-нибудь воспринимать.

ИСТОРИЯ ЧИСТОЙ СТРАСТИ

Как-то раз художнику Бернару Палисси в чьей-то мастерской попалась на глаза тарелка из фаянса. В те далекие времена фаянс умели производить лишь в городе Фаэнца и способ его приготовления держался в строгом секрете. Увидев тарелку, ощущив ее глянцевитую гладкость и

тяжесть, Палисси решил, что ничего прекрасней в жизни своей не видел и загорелся желанием самому создать что-нибудь подобное. В течение шестнадцати лет он так и сяк смешивал глины, просиживая целыми днями у печи и всякий раз не удовлетворялся результатами: получалось вроде то, да не то, или, чаще, вовсе ничего не выходило. Когда у него не было денег на то, чтобы купить топлива для печи, он сжигал мебель, половицы, забор своего дома. За это время шестеро детей Палисси умерли от голода. В конце концов ему удалось достичь желаемого результата и изобрести то, чему он дал название «сельских глин». Это небольшие блюда овальной формы, покрытые рельефными изображениями змей, листьев, ящериц, насекомых или других представителей местной флоры и фауны, облитые цветной глазурью изумрудного, охристого или голубоватого оттенков. Кто-нибудь в наши дни, взглянув на эти тарелочки, пожмет плечами и скажет, что они, конечно, премиленькая вещь, но стоило ли, право, так ради них убиваться? Уж не говоря о шестерых детях. Но в конечном итоге это не история о том, что такое хорошо и что такое плохо, это история чистой страсти. Для успокоения читателя сообщим, что умер Палисси в Бастилии, заключенный туда за свои религиозные убеждения.

ХОРЕК

Хорек ходит буквой «омега». Все куницы, когда не спят, ходят буквой «омега» и делают хвостом «бррррр». От одного взгляда на этот хвост врага должно охватить смущение. Когда же он не пьет, не спит и не делает хвостом «брррр», когда не ходит буквой «омега», что он тогда? Альфа ли, или непотребная тэта, или, быть может, обращается знаком диакритики, зависая над буквкой какой-нибудь, дабы означить ее долготу? В природе это невозможно опознать. Говорят, что хорек так брезглив, что скорей позволит себя

изловить, чем ступит в нечистое. Но что такое «нечистое» с точки зрения хорька? Этого нам узнать не дано: слишком различны понятия о чистоте и нечистоте не только у хорька и человека, но даже и у двух разных людей. Что для хорька чистота, для человека, порой, вовсе даже и не чистота, а наимерзейшая пакость, и наоборот. Ходить «омегой», например, для человека совершенно недопустимо, а для хорька — самый смак. Позвоночник его изогнут, и напряжен, и каждую секунду готов распрямиться, как пружина. В узкой норе змеистое тело его с легкостью отыскивает путь, а на открытом пространстве жуть его забирает. Вот потому-то и ходит он буквой «омега», а не какой-либо другой.

НЕОБХОДИМЫЕ В ХОЗЯЙСТВЕ ПРЕДМЕТЫ

Вот они приходят и рассаживаются на столе. Личики настурции, пальчики-пипетки, подрагивающие от головокружения. В их стеклянных черепах я различаю синеватый комкастый мозг и даже время от времени пробегающую искорку мысли. Если дотронуться легонько до макушки, то заискрит сильней: даже боязно. Иногда они стреляют крошечными электрическими разрядами, как кошки. Иногда, как сумасшедшие, скрежещут коготками по крышке стола, так что вся поверхность в мелких трещинках. По их поведению можно угадать события на три-четыре дня вперед, или подставить им раскрытую книгу: куда ткнет пальчик-пипетка. Но если поставить перед ними блюдце с водой пополам с вином, то они сперва брезгливо принюхиваются, потом, осмелев, набирают чуть-чуть, капнут в распахнутый раструб своего рта и тут только смотри, как вспыхивают и рассыпаются созвездиями многоцветные огни под стеклянным лбом. Вот теперь им снова подсунуть книжку. Пальчики, приплясывающие косиножками, понавыступают такое, чего

и вовсе не бывает. Страшна пляска их и одуряющая. Для того-то они, главным образом, и нужны, для того и необходимы. Тогда прикрываю их плотной ширмой и оставляю на час-другой: пусть отдохнут. Мозг их делается чернильным и не подает признаков жизни.

ЗАКЛИНАНИЕ ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ РАЗУМА

Пусть бледные терпкие [нрзб] вынут его мозг из ложа, вымоют его в проточной воде, высушат на горячем ветру и вложат обратно. Пусть бледные терпкие [нрзб] отстегнут его челюсть, извлекут из гортани его белый язык, вымоют его в проточной воде, высушат на горячем ветру и пристегнут обратно. Пусть бледные терпкие [нрзб] извлекут из тела все его внутренние органы, вымоют их в проточной воде, высушат на горячем ветру и вложат обратно. Пусть наложат на лоб его свои ладони, чтобы исцелить его, вновь сделать целым и гладким, как камень, обточенный волнами. Пусть наложат ладони на грудь его и живот, чтобы исцелить их и привнести в них движение крови. Пусть вдохнут воздух в его ноздри, чтобы очищенное тело ожило. Так призывают неких духов для очищения человеческого ума. На протяжении всего обряда сжигается жир священных животных и предназначенные для таких случаев травы. Тот, чей разум нуждается в очищении, лежит на земле, вытянувшись, руки свободно лежат вдоль тела, ноги выпрямлены, голова откинута, веки сомкнуты, рот слегка приоткрыт. Вот он чувствует приближение духов, их дыхание щекочет затылок, вот уже, вот, совсем близко. И меж волос его пробирается, еле касаясь, ласковая остро отточенная игла.

* * *

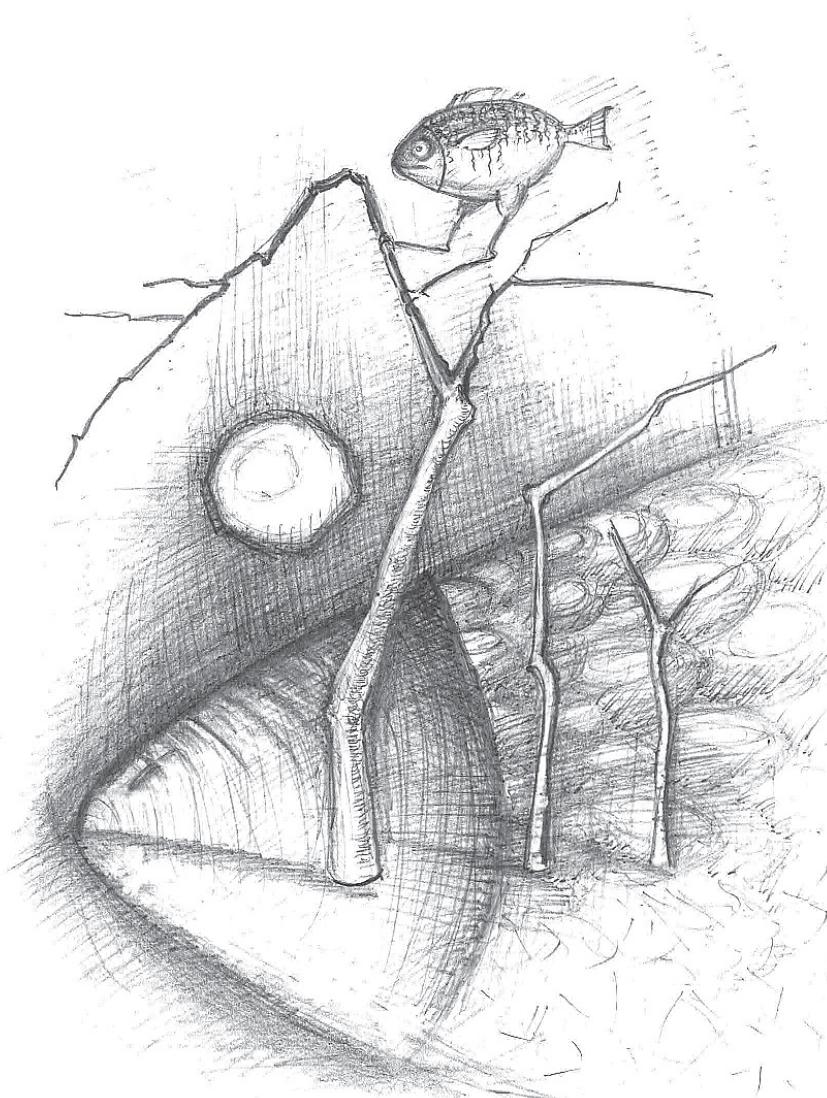
Тогда начинается постепенное отслаивание пневмы. Сперва это ощущается как удвоение. Когда зазор увеличивается, в него постепенно просачивается ужас от приблизившегося мрака. Пневма — недужная, бледная, как девушка. Мрак питается пневмой, она создает ему тело. Мы видим его как некий ток, создаваемый многими и многими тысячами пневм, которые он медленно пережевывает. Поэтому выходит, что пневма ничья, нить, выдернутая из ткани, прочерчивает след на всех одновременно. И в то же время они бессильны помочь одна другой. Их протяженные стоны сливаются в некий нестройный хор, как будто поток воздуха раздражает их своими порывами, надрывает их, скручивает, мнет. Мы можем видеть, как медленно, вывертывая свои прозрачные суставы, они движутся, пошатываясь, припадая то на одно, то на другое колено. Набрасывают себя одни на других, создают дрожащую желеобразную кучу. Куча эта растет, карабкаясь в черные небеса, дабы мраку удобней было пожрать ее. Они точно себя принесли на заклание, вокруг кучи свалены, как ненужная одежда, имена, сделавшиеся ничими, на вид цветные кругляшки, плящающиеся в недоумении, утратив способность кому-то о чем-то сообщить. Они наугад тянутся одно к другому, складываются в какие-то невнятно лепечущие не то молитвы, не то списки, сливаются, обессмысливаются, звучат как несвязное и непрерывное бормотание выжившего из ума существа. Там их искать, там, пока мрак огромным своим язычищем лакает робкое скопище пневмы.

*

После того, как мрак без остатка допивает их души, тела утрачивают способность испытывать страдание. Всякое восприятие содержит в себе неуловимую, с волос

толщиной толику страдания. Звук причиняет неуловимую боль барабанной перепонке, цвет чуть ранит глаз, привнося в него раскол между светом и тьмой, заставляя видеть, всякое прикосновение проникает сквозь защитный слой тепла, окутывающего тело человека, и создавая в нем сквозняк. Теперь, когда их души отошли, цвета, звуки, запахи для них лишены проницающих свойств, они словно бы видят и не видят одновременно, слышат, но никак не отзываются на звук, они точно вылеплены из жеваной бумаги и сидят, как манекены, застыв в одной какой-нибудь позе или же слегка раскачиваясь. Их зрачки расширены и никак не реагируют на свет. Так ведут себя загипнотизированные животные. Некоторые вдруг, побуждаемые смутным воспоминанием о другой, некогда бывшей жизни, начинают ползти в сторону других, хватают их плохо гнувшимися, скрученными памятью о прежних страданиях пальцами, ощупывают, не чуя под собой ничего, впиваются зубами в резинистую плоть, шарят гуттаперчевыми языками в ушной раковине, точно пытаются высосать спрятавшегося в ней моллюска и не могут его отыскать. Это заставило бы их испытывать отчаянье, вместо него они перетирают пустоту, образовавшуюся на месте отчаяния. Все они испещрены выемками, застывшие куски доисторической морской губки, их можно мять, корежить, склеивать и отрывать отдельные части, они продолжают шевелиться по инерции. Их взгляд мог бы быть взглядом гриба. Сколько их там притаилось на глубине. Мы слышим мерный гул от их передвижения, густое утробное шуршание. Не смотри, не смотри сюда, предупреждает их вид, и наше зрение, повинуясь словно бы некоей фатальной необходимости, приклеивается к ним, соучастует их шевелению, обретает их безумную мягкость и беспрекословность. Вот они точно вернулись в бессмертие, опорожненные мраком, сделавшиеся нечувствительными к угрозе ущерба и разрушения, смешавшиеся в жизнеподобное варево. Взгляд прилепился и си-

лится высвободиться, к нему пристали частицы жеваной бумаги, он беспомощен. Стоит один раз услышать этот гул, чтобы он застыл во внутреннем ухе навсегда, подкрашивая всякий звук своим тошнотворным приборматыванием.



Эдуард Лукоянов

ХАЧКАР

Весна, я слышу шаракан степенный твой
в шагах, мерной поступи захватчика снежной Айи,
снег уходит в горы, медленно шествует —
так покоренный народ оставляет свои села,
отправляется в ссылку в края, откуда нет возврата,
разве только — через плоды.

Закончился пятнадцатый год, как год триста первый
закончился. Турецкая весна остановилась
у снежной Софии,
опустилась на неспетые ступени обратного эха
названия:
Аарат, Ереван. Пристанище стало именем,
вместилище — местом сбора быстрых негоциантов.

Все Ветхое и Новое — тебе, смелый человек,
но не увидеть тебе снежной Аия-Софии.
Тебе, мой человек, прозвище презрительное — «крест».
«Камень, — окликнет ворона, — Камень».

Весна, я слышу, как ты роняешь пение:
цветок синеет, пыль с него сдуваешь.

КОСМОГОНИЯ

I

Известно тебе, что начало всему — точка, фигуре любой
Начало дает дообъемное тем, чтоб, столкновение дав,
Поняв мироздание точка дает плоскость, а плоскость —
объем,
А сфера, напротив, стремится к пластам;
 длины, широты забыть
И далее, память отвергнув, прийти к точке, началу себя.
Вселенная так же начała планет рой жароносный и тьму,
В то время, когда ни пространства,
 ни дна не было в безатомный день,
От точки — стремительной линии род,
 звезды в тот миг были — клин,
Столкнувшись, они сотворили углы,
 от которых разошлись
Просторы вселенной и сфер наслоеньем
 створили весь мир,
Пойми, попытайся, сколь мысли огромны
 породил этот знак,
Что точкой грамматики наши зовут, словом венчая идей
Первичное тело, что тела не имеет, лишь скрыто в себе.

II

Из звездного жара рождались планеты,
 но не огнен тот жар,
Не так согревает, как пламя костра,
 пихтовых веток поток,

Что светит теперь в очаге, но страсти, как замечает поэт,
Пожар тот роднее, что мир согревает, порождая планет
Колеса, стоящие, как в танковой гусенице, стройный ход
Задав и движенье их не только у них, но и средь них,
в их телах.

Но есть холода мировые, текущие бураном одним,
Тот холод не кожный, что снег растирает нам
по лицам в горах,
Тот холод — рассудка и мудрости,
останавливающий страстей
Живительный бинт, прекращающий жизнь,
смерть называющий лед,
И если космических звезд раскаленные шары родились
Огнем в бесконечности, то холода создают пустоту,
Чтоб двигаться стало возможно планетам
и холодеть и остывать.

III

И жар тот и холод во всем во вселенной
равновзвешенны есть,
Они континенты рожают в столкновении своем и моря,
И травы, и сетки бактерий, и камни, и калитку, и тлен.
Гармонией было прекрасное сделано, что глаз твой глядит,
Но сил напряжение снегам подобно, закрывающим почв
Плодящие ткани, с углем борющиеся, погибнет и то,
И это: растопится снег, и растворятся угли, как зола,
Которую пахарь в воде рассыпает, совмещая с тлей.
Вселенная так же: и уголь и снег: так себя и гасит,
Огонь ее — космос, а снег в ней — изнанка незнакомых имен,
Которую богом когда-то мы звали, а теперь пустотой.
Но мудр вакуум, что стремящийся к компактификации, что
Для амплификации пущей расширен, пустотою умен.

IV

Но горестен дух человека, и печалью объяят, от того,
Что сделан он был из осадка: из тени от пламени и из
Космической стужи теней. Неполноценна душа человека:
Не может травою, не может дождем, хоть ощущает он их —
Красоты природные он понимает, находя в них себя
Как будто немного, — на деле же это в человеке чуть-чуть
От трав и от камня, и в камне и в травах человечного есть
На все население шара земного. Поклоняйся траве
И камню учись — они матери твоей материнство и мать.
Два выхода вижу для духа людского я: быть может, души
Материю неполноценную свести к пустоте тождеству,
Или же разить из теней их источники: огонь-жар и лед,
Как это, к примеру, проделали Пушкин,

Мандельштам и Куприн.

V

Возделывание земли — наилучшее для душ ремесло,
Поскольку приводит к слиянию прямому
 со светилами — рук,
Ведь каждой травинке звезда соответствует:
 допустим, пшено
Являет собою прямое отражение Спика, звезды
В созвездии Девы, ведь Деву везде мы наблюдаем в ночах,
Как в Трансиордании, так в гиперборейских
 резных городах.
Чем ближе звезда, тем съедобнее трава, соответствие-тень,
А дальние звезды рождают ядовитые травы и мох —
Чем дальше светило, тем хуже для чрева отраженье ее.
(А вот существа, обитающие на Антаресе едят
Поганки и плющ, а пшеница же для них —
 смертетворнейший яд).

Поэтому, почву руками разводя, ты держи в уме,
Что, углеволокна связующи, поток эманаций растишь.

ЭЛЕГИЯ

сосны над Балтийским заливом
кто вас посадил на этот песок
корабль ваш не сойдет с безводья
солнечный парус не даст вам движенья
кто вас посадил на этот песок
глазами схвачены корни
взглядом стряхнуть твердую пыль
у каждого корня растет муравейник
из единственного солнца луч пробивший линзу
у света черный запах
горящей шкуры муравья
у этого света черный запах
набожный покойник стоит у окна
он собой пополнил каталоги Пригова и Холина
корабль соснового бора сошел с мели
отрезаны ветки и хвоя пошла на корм арестантам
голос мой негромок
игл на хвойной ветке хватило бы на многоглазый взгляд
насекомого
я сжег этого муравья когда
Холин пополнил собой каталог Пригова
кораблю теперь несут цветы и водку
радуйся людие
а муравей тот муравей был на Азове
в пихтовой роще когда
Пригов пополнил собой каталог Холина
у этого света запах черный
как мокрая кора сосен над морем

СВЕТОФОР

Нельзя мыслить то, что не в тени, что не в тени —
то ослепляет.

Не приближайся к этой светореке,
там сильные синицы падают во влажный зрачок
созвездия-звезды,
мы с тобой для них пыль в лоскунном поле-земле,
просеют нас через зобы.

Город-птица летит сам в себе,
вдыхает дыханье.

Кажется, ты, семафор над дорогой,
солнце-луна железного тракта,
кто-то в тебе — слюды частица.
Так страшно все, что забирает,
(птичий клюв или вор).

Слова бесконечный, а что есть знаки?
Вот светофор черно-белый сигналит.



Что за свет его горит? Когда же нам к нему идти?

1571 ГОД

Женщины хмурые выкатывали лбы,
с киотов собирали позолоты, а мужчины
в стрекозиный говор вслушивались молча,
на песчаном поле разложившись.

Конь черным брюхом истекал,
парусом средиземным зачарован,
впускал в бесплодное ребро
паука безответную пыль плести.

Торжествуй, тиран, полтысячелетья
тебе осталось до становленья
обслуживающего персонала гостиниц.

Печален крах империй, ничтожна смерть царей,
как деревни разоренье,
как в смуглой коже след серпа.

Денис Ларионов

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Посмотрев стремящийся стать классическим киноальманах, он наконец понял, какое место работы подходит ему больше всего. Сезонно, а если удастся, то можно посвятить этому и всю жизнь. С девяти утра до семи вечера. Пока добавим, что в тот день он увидел в газете бесплатных объявлений заметку о том, что на непостоянную, кроме уборщиков и кассиров, работу требуются люди, готовые с девяти утра до семи вечера ходить по городу и с переменным успехом рекламировать, так сказать, услуги.

Когда он через неделю, после, так сказать, долгих терзаний пришел в эту, скажем, контору (речь идет о гастролирующем цирке), то первое, что ему сказали: ты пришел вовремя, если бы ты пришел завтра, мы бы тебя попросту послали на х...й. А сегодня мы как раз уволили человека, неделю назад согласившегося исполнять эту, будем честны, неблагодарную работу. Прямо так и сказал: я больше не намерен выполнять неблагодарную работу, которую вы мне поручили. И не то, чтобы он не прошел испытательный срок, нет, просто, как видишь, распихо-

вался, сославшись на третьих лиц. Непостижимо! И если ты завтра готов приступить к выполнению своих непосредственных обязанностей, то мы берем тебя на работу прямо сейчас, а если нет — до свидания.

Странное заявление, подумал он, вкупе с мгновенно взятым панибратским тоном, хм-м... Им ли в их ситуации ставить условия?

Несмотря на это, он без всякой амбивалентности мотивов согласился на предложенные ему условия и на следующий день (был четверг) пришел на сборный пункт (как он в шутку называл это место), чтобы переодеться в рабочую одежду, представляющую собой сине-желтый комбинезон, который, как сказал человек, исполняющий обязанности работодателя, запрещается снимать в течение всей смены. Которая, как уже было сказано, продолжается десять часов: с девяти часов утра до семи часов вечера. На перерыв выделяется полчаса, которые можно использовать как угодно.

Ничего себе, сказал он себе.

Находившийся рядом с ним подобным образом одетый человек-реклама спросил у него, не первый ли он здесь день и, услышав утвердительный ответ, поинтересовался, не мог ли он найти работу получше? Это, в конце концов, довольно легко сделать молодому человеку. Сейчас есть множество вакансий, связанный с тяжелейшим физическим трудом, там с удовольствием берут таких молодых, как ты. С другой стороны, сказал человек-реклама,ходить по городу с рекламным плакатом лучше, чем месить грязь на стройке, где ему, к несчастью, приходилось работать: вот, например, сапог застревает в глине, а на тебя в это время, допустим, едет грузовик, перевозящий что-то тяжелое и бессмысленное. Как же бессмысленное, исправил себя человек-реклама, но контраргумент так и не привел.

Что делать, как ты думаешь, спрашивает у него человек-реклама и тут же сам отвечает: правильно, прыгать

из сапог, иначе превратишься в мокрое мертвое место и никто не будет разбираться. Эти ситуации обычно не расследуются, увы. Если у тебя имеются какие-то родственники, то у них еще есть шанс получить твою помятую одежду, а если нет, то можно и не надеяться на благоприятный исход. Недавно был случай: дочка какого-то Заместителя сбила насмерть старичка и старушку. Стали разбираться. Что-к-чему, туда-сюда. Ничего и ни к чему. У старииков не было родственников, они всегда жили одни, ну умерли и умерли, никто ничего спрашивать не стал, зачем портить жизнь человеку, который еще может потрудиться на благо страны?

В этот момент в раздевалку пришел третий человек-реклама, который, даже не поздоровавшись, сказал ему не слушать второго человека-рекламу, который очень любит похвастаться собственным отрицательным жизненным опытом, которого у того, к счастью, навалом. Даже страшно, продолжил он, становится, когда представляешь, что на плечи одного человека может свалиться такое количество стечений обстоятельств, призванных не просто раздавить нормального (он подчеркнул) человека, но и попросту превратить его в тушканчика, ищущего сухарик в порах засохшей за лето земли, или корнеплод, снаружи красный, а внутри белый. Я работаю здесь для того, чтобы купить специальные приспособления для гитары. Плюс, конечно, что-то добавят родители. Они сперва были против того, чтобы я здесь работал, но потом поняли, что удержать меня не удастся и смирились. Внезапно прервав эту речь, человек-реклама номер три сказал, что им лучше держаться вместе, ибо коллектив здесь специфический и это надо учитывать.

Хорошо, сказал он. А что еще он мог сказать?

Знал ли он, что первый рабочий день окажется последним?

Нет, наверное.

Он вышел из здания цирка, где два дня назад, кстати, имело место быть ужасное происшествие: леопард напал на шестилетнюю девочку, которая оказалась, как говорят обычно, не в то время и не в том месте. Следствие показало, что она пробегала мимо открытой клетки, где в это время находился леопард, которому, по-видимому, было нечём заняться. Разбирательства относительно этого случая зашли довольно далеко, приехала комиссия, состоящая из четырех человек, выявившая, естественно, ряд нарушений.

Куда он пошёл?

В сторону детской поликлиники, чтобы затем, свернув на центральную улицу, оказаться около недавно отстроенного кинотеатра: там наверняка должны найтись люди, которым могли бы быть интересны его предложения.

Ему встречались одинаковые люди, не обращавшие на него никакого внимания: неужели, думал он, они пьют вчерашний плохо заваренный чай, выделяющий яд. Его раздражала их катастрофическая (скорее посткатастрофическая, раньше он много думал об этом, а сейчас не находил эти мысли хоть сколько-нибудь интересными) уверенность в себе: они напоминали ему персонажей, которыми он недолгое время манипулировал посредством игровой приставки. Недавнее повальное разархивирование игровых приставок и все, что с ними связано, не вызывало у него никаких эмоций, даже обыкновенного для него раздражения: его знакомые с радостью рубились в игры своего детства, запивая процесс пивом и заедая орешками, тогда как он находил все это бессмысленным и торопился домой.

Около старой парикмахерской его сфотографировали веселые люди, он улыбнулся, но тут же осекся: зачем я это сделал? Наверное, теперь они будут искать во мне близкие черты, надеясь на понимание и, не обнаружив всего этого, удивятся: как так, неужели все люди разные и к кому-то нужен специальный подход.

Чтобы, не дай бог, не попасться на глаза своим соседям (реакции которых он боялся, хотя утверждал обратное), которые любили покупать молочные и иные продукты в близлежащих магазинах, он решил срезать путь, хотя это было категорически запрещено. В одном из дворов он увидел играющих в футбол подростков: особенно его удивила девушка, владеющая приемами игры едва ли не лучше четырех парней, посыпавших ее оскорблениеми, природа которых была вполне очевидна. Мне никто не говорил, что девушки тоже играют в футбол. Я думал, подумал он, что из всех видов спорта они выбирают смертный бой в грязи, называя это познанием себя.

Как же мне неприятно от этого моего размышления, подумал он. Я беззащитен: и от внешних проявлений зла, и от внутренних. Словно мне сегодня исполняется восемнадцать лет и я, думал он, вместо того, чтобы выйти к гостям, думал он, которые уже приготовили мне свои улыбки, думал он, а также пожелания и просьбы, валяюсь на кровати, чередуя «не хочу» и «не могу».

Незабываемое приключение. Не такое, конечно, когда двое любимых перерезают друг другу горло, ложатся в устье реки и начинают учащенно дышать, но тоже неслабое.

Зазвонил мобильный телефон. Кто бы это мог быть? Оказалось, что это его коллега, человек-реклама номер два звонит, чтобы сообщить ему о том, что стал свидетелем кровавой драмы. Легковой автомобиль на полном ходу врезался в грузовой автомобиль, вследствие чего труп водителя, так сказать, практически неоткуда взять. Но специализированным службам это удалось. Только что был свидетелем. Да. Это зрелище, как ты понимаешь, сказал человек-реклама номер два, не для слабонервных.

Как интересно!

А зимой, продолжал он, я стал свидетелем другого происшествия. Двое семилетних детей, играя около искусственно созданного городскими коммунальными служба-

ми водопада, не рассчитали веса и провалились под лед. Их пытались найти несколько часов, но так и не смогли, неизвестно почему. Наконец через несколько часов...

Откуда вам известен мой телефон?

Давай на ты!

Хорошо, откуда тебе известен мой телефон?

Ты же давал его Р. (так звали работодателя), чтобы связаться с тобой в крайнем случае: я у него и попросил. Сказал ему, что может понадобиться подстраховка, и он согласился мне дать твой телефон. Но, вижу, ты не особенно-то обрадован моим звонком.

Да нет, почему же...

Сказал он.

Около кинотеатра, предлагавшего зрителю несколько дурацких боевиков и модный мультфильм, персонажи которого буквально оживали у него на глазах, он встретил знакомого, которого никак не предполагал здесь встретить.

Привет, сказал он, привет, сказал знакомый. Он сидел на асфальте около кинотеатра и просил милостыню. Одет он был хорошо, и вряд ли причиной его действиям была нужда. Что ты здесь делаешь, спросил он. Выполняю долг, Н. мне сказала, чтобы я купил ей мороженое, а так как денег у меня нет, я пришел сюда. От входа меня выгнали и сказали, что сейчас вызовут сотрудников определенных органов, я, честно говоря, испугался и перебрался сюда.

Он рассказывал это, захлебываясь собственной решительностью, через которую невыносимо тянуло отчаянием. Видимо, подумал он, ему так и не удалось справиться с собой после того кризиса, несколько лет назад. В то время, кроме всего прочего, он был безнадежно влюблен в Н., которая всячески давала ему понять, что никакого будущего у них нет, а ее именно оно, будущее то бишь, и интересует, она говорила.

Что с ней сейчас?

Редко выходит из дома.

Ему действительно хотелось немножко поговорить со знакомым, имени которого он совершенно не помнил. Несмотря на зашалившую нервозность и экспансивность, которая выливалась в неуемную жестикуляцию, в том не было отвратительных намерений захватить чужую жизнь, каковая отличала почти всех его родных и, как оказалось, людей-реклам: второго и третьего.

Почему?

Наверное, потому что у нее ничего не осталось внутри головы.

Хороший ответ. Все друзья и товарищи давно отвернулись от него, увлеченного поиском себя, как это иногда называется. Вернее эрзаца, который можно будет выдавать за себя: в конце концов, на этом уровне все и горят. Он знал о таком слишком хорошо.

Вдруг знакомый притих и уже не отвечал на вопросы, связанные с общими знакомыми и некоторыми, можно сказать, интересами, которые имели место в прошлом. Он понял, что разговор исчерпан и ему пора двигаться дальше: пока, сказал он знакомому, которого, как уже сказано, был искренне рад видеть, а это случалось нечасто.

Ну пока.

Т.е. как бы можешь остаться, но в твоем присутствии никто не заинтересован.

Отойдя на порядочное расстояние от знакомого, он оглянулся, чтобы посмотреть со стороны на представление, которое тот разыгрывал прохожим.

Увидев мужчину и женщину лет тридцати, идущих в обнимку, он побежал к ним на манер собаки или обезьяны и начал хватать мужчину за брючину: мол, давайте за определенную сумму я поймаю кость, которую вы кинете. На лице мужчины было написано омерзение, смешанное с интересом старшего по участку, чей подчиненный лезет под опускающийся пресс, а отвечать все равно старшему по смене.

Женщина отшатнулась и несколько раз повторила своему кавалеру: пойдем, ну пойдем, или пойдем, мы пойдем. Он махнул на нее рукой и сказал: подожди ты. Она улыбнулась.

Мужчина кинул кость на другую сторону улицы, через дорогу. Его знакомый, понимая, что за слова придется отвечать, на руках и ногах побежал за искусственной костью. На обратной дороге его чуть было не сбила машина и, когда она уже проехала, он, не двигаясь с места, встал на ноги и показал, что называется, средний палец.

Когда его знакомый притащил мужчине кость, женщина захлопала в ладоши. Мужчина с гнусной улыбкой борова посмотрел на нее, она прекратила улыбаться и еще раз повторила: может пойдем? Нет, сказал он, подожди. Когда кость была передана в руки мужчине, он бросил ее еще раз, непосредственно перед входом в кинотеатр, куда, как помнится, его знакомому путь был заказан.

Он осторожно, на цыпочках, если так можно выражаться, рук и ног, подошел к входу кинотеатра и схватил кость зубами. Увидев секьюрити, стремглав бросился к мужчине, который доставал из кошелька нужную сумму: видимо, это были три червонца. Люди, выходившие из кинотеатра, не обращали на его знакомого никакого внимания. Среди них встречались и пожилые, и достаточно молодые, и люди среднего возраста.

Когда он принес «хозяину» кость, то оказалось, что тот не собирается выдавать ему всю сумму: он видел, как мужчина дал червонец и ссыпал в ладонь знакомому мелочи. Тот посмотрел на него странным, ничего не выражавшим взглядом и, подождав, пока он возьмет свою женщину под руку и они уйдут, вновь принялся искать желающих поиграть с ним.

На это, подумал он, нет никакого желания смотреть.

Солнце светило все яростнее, но у него не возникало никакого желания снять достаточно плотную верхнюю одежду, которая уже успела пропитаться потом. Когда-

то он, прочитав с экрана знаменитый текст Александра Введенского, сказал себе: кажется, я знаю о чем это, ты не находишь? Да, кажется знаешь, ответив себе, вытер бумажной салфеткой пот со лба. Сейчас это ощущение несколько притупилось (быть может, засорились некие поры, через которые раньше проходили токи мира, в котором он вынужден был существовать? Причем, говорил он себе, все это происходило и происходит по моей вине, которая разливается в картине мира повсюду, иногда переливаясь через край, и тогда я потею).

Вновь зазвонил мобильный телефон.

У него не было определителя номера.

Поэтому он и не ответил на этот звонок.

Хотя, конечно, он знал, кто может звонить в это время: его смущала, скорее, не энigmатичность, которая появилась бы сразу, как только бы он нажал на кнопку, где изображена небольшая телефонная трубка зеленого цвета, нет, ему не нравилось участвовать в чьем-то психопатологическом ритуале, даже если отговоркой служило что-нибудь элегическое. Например, он (а) же все равно скоро уйдет, поэтому максимально постарайся застать его (ее). Очень интересный человек. Или вот так: пощади его (ее), ведь недолго осталось.

Во все эти заведенные не им игры он наигрался в детстве.

На подступах к центральной площади, которая называлась так только потому, что находилась в историческом центре города, он обнаружил странное явление: почти всегда наполненный людьми квартал совершенно пуст. В чем же дело, подумал он. Быть может, подумал он, туда и не стоит идти.

А может и следует. Чем ближе он подходил к центральной площади, тем яснее слышал свистящий звук, словно откуда-то выходил воздух. Страх смешивался с анемией, которая поразила его сердце еще в детстве: до третьего класса, иногда думал он, я был веселым маль-

чишкой-заводилой, но что случилось потом? И ведь ничего, кроме гнева.

Жидкая, нет, гелевая, наверное, оболочка покрывала собой объекты, и они исчезали. Люди, выходившие из соседних домов, испытывали страшные мучения, словно с них живьем сдирали кожу: ему приходилось видеть телепередачи, посвященные этому. Зачем ты смотрел эти ужасы, спрашивали его, а он отвечал, что хочет немного разбудить себя ото сна, который, кажется, в самом скромном времени доставит его в могилу.

Ничего подобного не происходило.

Самые смелые, забравшиеся на крышу близлежащих зданий — банка, учебного комплекса для водителей и центрального офиса почты, в любом случае это говорило о том, что все происходящее происходит довольно долго — снимали происходящее на видеокамеры. Но вы же тоже умрете, думал он, и ваши видеокамеры превратятся в ничто. Зачем, думал он, заниматься тем, что абсурднее самого «верю ибо абсурдно»? Ему, прирожденному скептику, такие вещи были непонятны.

Что ты стоишь, закричали с левой стороны.

Ну да, самое время спасать свою жизнь, подумал он. Слева ему навстречу бежал человек-реклама номер два, периодически выкрикивавший реплики о том, что надо спасаться и самое верное решение в данном случае — это бежать к воде. Там, говорил он, эта штука не действует. И улыбнулся: он видел такую улыбку у одного родственника, когда тот лежал в гробу. Он, говорил другой его родственник, так и умер с улыбкой: вроде того, что хороший был человек, что называется.

Побежали, закричал человек-реклама номер два и схватил его за локоть. Руки у человека-рекламы номер два были довольно крепкими, и он, как ни хотел, так и не смог вырваться. В конце концов какая разница — выжить или нет, подумал он, если кто-то настаивает, я могу еще и пожить, какая разница сколько: час или год.

Пространство центральной площади превратилось в черную дыру, куда проваливались остатки материальных объектов: велосипеды, фонари, деревья и проч. Также туда сползали и пришедшие в негодность участки гелевой субстанции: они становились жесткими и просто-напросто отваливались. Несмотря на это, основная масса ничто (как он назвал про себя эту штуку) не уменьшалась, но и, надо сказать, не становилась больше.

Человек-реклама номер два, несмотря на то что ему было пятьдесят шесть лет, бежал очень быстро, и он не поспевал за ним. Осталось немного, подбадривал его человек-реклама, осталось совсем немного. Скоро будет река, в которую можно зайти, чтобы спастись от этой жуткой субстанции, которая рано или поздно превратит весь в город в черную дыру, которую будут объезжать дальnobойщики и туристы. Как он смог протянуть так долго, подумал он, используя столь узкие познания в большинстве сфер человеческой деятельности.

Видимо эти люди, те, кто уже перепрыгнул на скакалочке через пятьдесят лет, обладали повышенной выживаемостью: если они видели преграду, то уже знали, что можно с ней сделать, имея под рукой минимум возможностей: вот, например, молодежь в день молодежи, разрывающая на своем пути все живое, что будем делать? Конечно же сделаем руки-в-ноги и на ближайшую остановку, где сядем в первый автобус, который завезет нас на пустырь, с которого практически невозможно выбраться, зато мы в безопасности, а это, как вы, наверное, догадываетесь, кхе-кхе, ну ага.

Когда они — он и человек-реклама номер два — прыгнули в воду, то увидели в ней множество человеческих существ (подумал он про себя), так же, как и они, стремящихся спастись от неизвестного науке убийственного феномена, который он, как уже было сказано, назвал не иначе как ничто. Осматриваясь по сторонам, он видел изможденных, грязных, окровавленных существ с трясу-

щимся руками, плачущих, пытавшихся закурить, разговаривших мутнью воду, кричащих несуществующим друг другу о том, что пора бы уже появиться, чтобы не травмировать и так уже чуть более чем полностью разрушенную психику опять же друг друга.

Как я здесь оказался, спросил он.

Человек-реклама номер два пытался набрать номер на мобильном телефоне, но у него ничего не получилось: телефон вымок и мгновенно пришел в негодность.

Дань панике, подумал он.

Ему почему-то захотелось найти своего знакомого, которого он встретил у кинотеатра: задать пару вопросов и попытаться спастись вместе. Он доверял ему. Ни краткий, ни усиленный вариант поиска не увенчались успехом: что с ним, подумал он. Может быть спрятался в какое-либо другое место: оно надежное или нет? Если да, то есть шанс встретиться после того, как все закончится: выпить какого-нибудь алкоголя на развалинах мира.

Ирина Шостаковская

* * *

за тех кто в море за тех кто за
за тех кто пошатываясь на краю обрыва
умер счастливым
за тех чьи речи закруглены
голоса не нужны

* * *

Генрих живет в Дерпте
Генрих стремится к смерти
К смерти стремиться легко и приятно
Как бы вернуться обратно

Становится холодней
Генрих мыслит о ней
Ах что он говорит
У него внутри горит

Дождь ли, ветер ли, мокрый снег
Весь свой недолгий век
Ради снов моих и теней
Ради ней, ради ней

Генрих спит у окна
— Мазелька моя, жена!
Генрих не знает сна

Генрих не пьет, не ест
Генрих уже не здесь
Генрих в плену Красоты
Генрих, где ты?

Корабль застыл в дождевой воде
Русалки шныряют известно где
Сирые облака
Родина далека

Птица Кант по-немецки фогель
Сколько тебе было когда ты понял
Сколько тебе было, когда...
Сколько тебе было, да.

Дождь ли, ветер ли, мокрый снег
Весь свой недолгий век
Друг мой — не человек.

Генрих живет в Дерпте
Генриху снятся черти
Снятся дети и сон тревожат
Генрих обратно не может.

* * *

Бедные дети детей
Ни один орнитолог
Этих птиц не нашел не поймал
Таинственной марки страны Нескажу
Зубчатые хлопки
Зрения или желания далеки
Гибнет серый Сорей собирает людей и зверей
Выручайте меня выручайте
Начинается дождь, и свистит заводная печаль
Заводная свирель, заводное водное окно
Круглое белое озеро словно бы волны от мягких камней?
Где вы видели мягких камней?

Сознание мое речью не командует,
Не управляет. Полчища белых, серых и черных крыс,
Мелкие зёрна сыпучей рекою движутся в воду.
Белый колокол, серый зенит,
Скрипучая дверь кинутой ратуши, площадь,
тюрьма, вокзал
Я никогда, никогда,
Никогда этого не забуду.

* * *

беглая речь твоя невольная птица
кроме тебя, ничего тебе не приснится,
кроме тебя, никому твоих глаз пальцами не коснуться,
и некому, кроме тебя, будет проснуться.

улыбайся, безногий друг, вернувшейся речи,
чаще своей несомой и невесомой,
улыбайся — как ты мог поступить иначе?
только подумай.

барабанная дробь, безжалостная жестянка,
за волосы притянутая судьбою,
она у тебя одна, и никого не потерпит
рядом с собою.

* * *

Был сон
И в нем была цель
На землю
Спускается дождь и сель
Во рту
Открывается третий глаз
Не жди,
Что станешь одним из нас

* * *

они почти потеряли свои плавники
легкие на воде, открыли глаза, в них черное,
белое — снежный ком, лебединый пух
на воде легки, под водою легки, никогда не умел говорить
на их языке
я записываю тебя, послушная пленка, дух и буква
магнитных не знали прокручивать наоборот
не помогает если ритм щебечущей жизни скрытый
морзянкой в умных больших головах
в волны бежать от кессона всплывает долго
если пробыть на дне
ты всегда был мастером спорта на глубине
а теперь при эдаких бедах только и сказать что они живые
первый верблюд упал
второй верблюд упал
яремные вены католиков бедных женщин считал рассветы

кратные шесть шаги, спускаясь с горы, центрифуга Бах,
разбивший целую жизнь и сам того не заметил
семилетний мальчик, потоки света, живая вода,
белый ангел, белый бог, белая борода.

(а теперь скажи: есть ли у белых ангелов плавники,
что нам они своей нечеловеческой речью,
погружаются ли они в сон, давит ли их кессон,
любят ли они воду, что они любят большие воды,
что они больше любят?
так есть ли у белых ангелов плавники,
так ли, как нужно, под водою они легки,
шел ли в Швеции дождь, в Калифорнии снег тогда,
где у дельфиньего бога борода?)

* * *

Рыбы не то что не дышат — они
Просто не пьют воды:
Серой, синей, зеленой.
И вода утекает их вдали и вдали.
И лодка плывет по них, и птица по них летит,
И белые водоросли, и золотые кувшинки,
И солнце сияет, колотит и млечной травой шелестит.
Вот черная рыба уходит по водовороту
В глубокое артезианское сердце
За половиной земли.
Вот красная рыба материю развоплощает,
И бегает красным огнем, и летает зеленою стрелой,
Да что там — вот вовсе не рыба.
Вот серая рыба, вот красный ее плавник,
Вот жгучая водная сырь, вот камыш и осока,
Качается воздух, оплавленный, жесткий, глядящий,
Мигает, как в роще цветные семарглы, и роща горит.

* * *

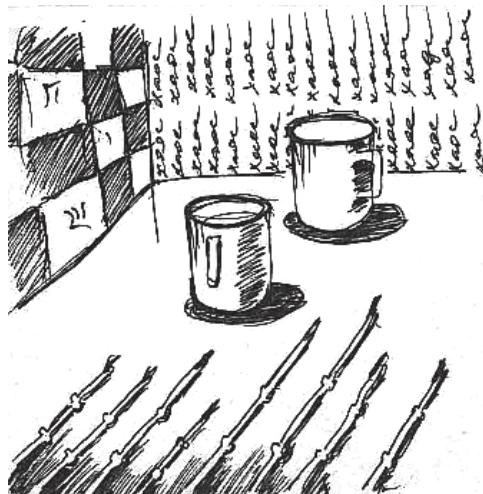
и ложные злые леванты на мертвой земле лежали
не стыдно тебе, не стыдно? едва пропели
красное, красное, красное лето свое а что ты наврал
друг мой милый, про лето? осень уже на носу.
сплавай в похищенные леса, схавай свои глаза
и ни о чем не думай, ой, ни о чем не думай
чего ты ждешь, мертвая белка,
сидя на толстой ветке в самую жару?
как ты закрываешь рот, белка, как ты его открываешь
рим большая страна, и ее не обойти тебе
и тебе ее не облететь, не перебежать, белка
чего ты ждешь, мертвая белка, чьи ты песни поешь
какие ты видишь сны, чьим ты голосом стонешь
какого рожна ты, белка, шкуру свою под дождем моешь
и не мерзнешь, вражек постылый, и в зиму песком
скрипишь
давай летай, белка! рим большая страна, ты ее увидишь
кожа твоя тесна, руки твои немы
ноги твои, бессильные лапы твои, цепляют
когти твои, белка, где твои когти?
большая страна, разваливающийся архипелаг,
алый бисер
белка, жри! белка, пой! уноси ноги!
ныряй под землю, глотай воды, заметай следы
тенью, стремительной тенью над тенью земли
и тенью воды
не говори ничего, она тут же к тебе обернется
не говори ничего, она видеть тебя захочет
только баран с перебитым носом «мэээ» разводит в долине
да и то не «мэээ» а как его биши, по-латыни.

* * *

За окном очередная тишина
Червь точит собственные тверди
Ты, ты.

Говоря с Богом
богом
Ты теряешь
Ты — теряешь.

Белое кружево, оно же белое
Бешенство, оно же черное
Зарево. Играй.



Литературно-художественное издание

Альманах
Акцент

Редакция

Кирилл Корчагин
Александр Мурашов

Иллюстрации

Дина Иванова
Татьяна Строгова

Верстка
Татьяна Сосенкова

Подписано в печать 2010. Формат 148x210.
Бумага офсетная. Гарнитура BookmanC.
Тираж экз. Заказ .

Отпечатано в «Первая типография», Москва, Измайловское шоссе, дом 44, офис 1216.

